РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ПУШКИН

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

●

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

●

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1977

Вступительная статья и примечания
Д. Благого

Р 1
П 91

П $\frac{70401\text{-}040}{028\ (01)\text{-}77}$ подписное

ГЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». ДРАМАТУРГИЯ. ПРОЗА

Одной из замечательных особенностей литературного дела Пушкина является исключительное разнообразие и разносторонность его творчества, широчайший охват им всех возможных родов, видов, форм национального искусства слова, величайшим создателем которого он у нас и стал. И во всех этих видах и формах Пушкин, не только впитывая опыт и достижения своих предшественников, но вживаясь сам и вживая русскую литературу в творения крупнейших мастеров литератур зарубежных (Данте, Шекспира, Гете, Байрона, Вальтера Скотта и многих, многих других), явил изумительные образцы мирового художества, способные выдержать любое испытание на прочность — на века.

Но предельно созрел, развернулся во всю свою мощь гений Пушкина в таких капитальных творениях, как его роман в стихах «Евгений Онегин», народная трагедия «Борис Годунов» (сам Пушкин по праву называл их своими подвигами), «Маленькие трагедии», как третий, хотя и не названный так Пушкиным, но не меньший, если не больший литературный его подвиг,— создание первых и тоже величайших образцов совсем еще не развитой до него художественной прозы.

«Евгений Онегин» является во всех отношениях центральным творением Пушкина, над которым упорно и целеустремленно он работал больше трети всей своей творческой жизни и в котором, как поэт действительности, вырос во весь свой рост. Хорошо известно определение Белинским пушкинского романа в стихах как «энциклопедии русской жизни». В самом деле, и в собственно повествовательной части романа, и в многочисленнейших лирических отступлениях, которые поэт шутливо называет «болтовней»,— он в высшей степени поэтически и глубоко правдиво воссоздает русскую жизнь того времени, делая это в предельно сжатой форме, действительно в какой-то мере приближающейся к краткости энциклопедических статей и заметок.

С первых же глав «Евгения Онегина» читатель сразу же ощущает себя в привычной, хорошо знакомой обстановке — атмосфере чисто русской

городской и сельской действительности. В отличие от экзотических южных поэм деревенские пейзажи «Онегина» представляют собой явление в нашей литературе небывалое. Пушкин совершил ими подлинное эстетическое открытие русской природы, показав, сколько в том, что всем так привычно и с детства знакомо, разлито поэзии, тончайшей прелести и красоты.

В пушкинском стихотворном романе предстали перед читателями подлинно живые образы реальных людей, дающие широкие художественные обобщения основных тенденций русского общественного развития. Задача, которую ставил перед собой поэт уже в «Кавказском пленнике»,— показать типичный образ русского молодого человека XIX столетия, представителя вольнолюбиво настроенной и вместе с тем неудовлетворенной, скучающей, разочарованной дворянской молодежи той поры,— была блестяще решена. В предисловии к изданию первой главы «Евгения Онегина» Пушкин и сам говорит, что «характер главного лица... сбивается на образ Пленника». И тут и там охладелый, разочарованный герой, страдающий «преждевременной старостью души», попадает из столицы, из искусственной «светской» среды на иную, естественную почву; встречается с «простой девой», выросшей на этой природной, здоровой почве, в условиях патриархального, простого быта. Но в «Евгении Онегине» эта излюбленная романтиками схема развертывается — почти в пародийном противопоставлении — совсем в другом, не исключительном, а типическом плане. Подобно Пленнику, Онегин также «летит» («в пыли на почтовых» — прозаическая деталь, немыслимая в романтической поэме), но не в неведомый «далекий край» — горы Кавказа, а в русскую деревню — обыкновенное дворянское поместье, и не в поисках «священной свободы», а всего лишь за дядиным наследством; очаровывает не «деву гор», а «уездную барышню».

Уже это показывает, что к осуществлению одного и того же задания — художественно воспроизвести облик «современного человека» — Пушкин идет совсем иным путем, по существу прямо противоположным пути списывающего героев с самого себя субъективного романтика Байрона — автора «Паломничества Чайльд Гарольда» и восточных поэм. Вскоре же после написания «Кавказского пленника» поэт осознал, что поставленная им задача требует и другой жанровой формы: «Характер главного лица приличен более роману». В этом признании зародыш «Евгения Онегина». Его новая жанровая форма — «роман в стихах» — очень близка байроновскому «Дон-Жуану», который Пушкин считал лучшим творением английского поэта. «Пишу не роман, а роман в стихах,— говорил Пушкин.— Вроде «Дон-Жуана»...» Однако между этими двумя произведениями, близкими по форме, по существу, как вскоре он же подчеркивает, «ничего нет общего». Вслед за Пушкиным это же энергично утверждают Белинский и Герцен.

«Дон-Жуан» — по своей фабуле любовно-авантюрный роман с «галантными» приключениями (чаще всего в столь излюбленной Байроном экзотической «восточной обстановке») условно-литературного героя, образ которого не играет в произведении существенной роли. «Евгений Онегин» —

общественно-бытовой и вместе с тем социально-психологический роман. Субъективное лирическое начало в нем занимает очень большое место. Мы все время ощущаем присутствие поэта, который неизменно выражает свое отношение ко всему, о чем рассказывает и что показывает, дает оценку героям, их поведению, поступкам. С этим прямо связана и необычная, переходная от поэмы к роману, стихотворная его форма. Но вместе с тем лирическая и эпическая стихии, органически сочетаясь друг с другом, остаются равноправными. Глаз автора и его голос, который на протяжении всего романа не перестает звучать, не только не мешают, но, наоборот, способствуют реалистической широте и достоверности образов и картин. И именно стремление к художественному воссозданию объективного мира таким, как он есть, является ведущим в романе. Действие «Дон-Жуана» перенесено в прошлое, в XVIII век. «Евгений Онегин» — роман о сегодняшнем дне, о современной поэту русской действительности, о людях пушкинского поколения и их судьбах. Субъективное, порой почти автобиографическое начало ощутимо в той или иной степени и в создаваемых поэтом объективных образах. Но в то же время автор не сливает себя ни с одним из персонажей романа, не подменяет, как это было в «Кавказском пленнике», героя самим собой.

Онегин особенно близок был Пушкину, поскольку именно в нем наиболее полно воплощены те черты, которые, по словам поэта, являлись «отличительными чертами молодежи 19-го века», а значит были в какой-то мере свойственны и ему самому. Но в первой же главе Пушкин решительно замечает, что образ Онегина ни в коей мере не является портретом автора и при наличии сходства указывает на существенную «разность» между обоими (строфа LVI). В шутливых по тону стихах этой строфы содержится серьезнейшая и отчетливо сформулированная декларация того принципиально нового художественного метода, который все больше и больше становился ведущим в творчестве «поэта действительности».

Пушкин продолжает высоко ценить сильные стороны свободолюбивой и мятежной поэзии Байрона. Вместе с тем он все критичнее относится к художественному методу великого поэта-романтика. В полемике с «унылым романтизмом», «безнадежным эгоизмом» байроновских героев-индивидуалистов Пушкин утверждает себя, свой взгляд на мир и людей, свой новый художественный метод.

Уже в первой главе романа характер героя дан в динамике формирования и последующего развития. В разнообразной житейской обстановке (в столичной светской среде, в деревне, в кругу поместного дворянства, в странствиях по России, на великосветском рауте), в непрерывных сопоставлениях не только с общественной классовой средой, но и с людьми ему наиболее близкими, в движении сюжета (испытание дружбой и любовью) образ Онегина раскрывается всеми сторонами, отсвечивает многими гранями. Наконец, в последней главе на образ героя, неожиданно охваченного большим сердечным чувством, накладываются новые черты, открывающие возможность его дальнейшего развития.

В отличие от героя «Кавказского пленника» образ Онегина не дан в качестве единственного в романе представителя «молодежи 19-го века». Другим представителем новой, молодой России является полярно противоположный Онегину образ Ленского. Пылкий и восторженный романтизм Ленского — явление в своем роде не менее характерное для передовой дворянской молодежи пушкинского времени, чем «охлаждение» и скептицизм Онегина. Для наибольшего прояснения характера Ленского Пушкин также показывает среду, в которой он развивался. «Возвышенные чувства» и «девственные мечты» Ленского, его наивная вера в «мира совершенство» — результат полной оторванности от реальной русской действительности. Его романтизм — благоуханный цветок, выращенный в «Германии туманной», на почве немецкой идеалистической философии и романтической литературы.

Не менее, если не более чем Онегин, значителен в романе образ Татьяны. Отношения между ними и составляют основную сюжетную его линию. Однако в их личной любовной коллизии таится далеко идущее содержание — именно в ней и заключен наиболее полный ответ на вопрос поэта о причинах печального одиночества главного героя романа, об истоках «русской хандры» онегиных.

Подобно Онегину и Ленскому, Татьяна чувствует себя чужой среди окружающих и так же мучительно ощущает это. Вместе с тем характер ее сложился в другой общественной среде, развился в совсем иной обстановке, условиях. Героиня — «русская душою», говорит о ней поэт и полностью раскрывает, почему это так. Татьяна (уже одно считавшееся тогда простонародным имя это, впервые «своевольно» вводимое поэтом в большую литературу, влечет за собой ассоциации «старины иль девичьей») выросла, в противоположность столичному Онегину, «в глуши забытого селенья», в патриархальной близости к народу — «бедным поселянам», в атмосфере русских народных сказок, поверий, «преданий простонародной старины».

Если сопоставить картины детства, отрочества и юности Татьяны и Онегина, сразу же видишь, что они во всем противостоят друг другу. У Евгения — иностранцы-гувернеры, у Татьяны — няня, простая русская крестьянка, прототипом которой, как прямо говорит сам Пушкин, была его няня Арина Родионовна, живой источник близости к народу для самого поэта. Там — ненормальный, противоестественный образ жизни, обращение «утра в полночь», здесь — жизнь в полном соответствии с природой: Татьяна, «ранняя пташка», просыпается на рассвете, как крестьянские девушки, первым снегом умывает «лицо, плеча и грудь». Там — «наука страсти нежной», цепь легких и скоро приедающихся побед, здесь — мечты о настоящей, большой любви, об единственном, сужденном небом, избраннике. Правда, на эти мечты, как и на формирование всего духовного мира Татьяны, оказали существенное влияние сентиментальные иностранные романы — «обманы и Ричардсона и Руссо». Больше того, поэт сообщает нам, что его героиня «по-русски плохо знала... изъяснялася с трудом на языке своем родном». Письмо к Онегину пишется ею по-французски. Но в обрисовке облика Татьяны,

который столь дорог поэту, является его «милым идеалом», с неменьшей степенью, чем в обрисовке Онегина, к которому он умеет отнестись с такой критичностью, сказывается стремление Пушкина быть полностью верным жизненной правде. Татьяна — высокоположительный, «идеальный» образ русской девушки и женщины; но этот образ не просто объективированная мечта поэта, он не навязывается им действительности, а взят из нее же самой, конкретно-историчен. Татьяна зачитывалась иностранными романами, но ведь русских романов такой впечатляющей силы в ту пору, до начала и даже до середины 20-х годов, еще не было; она затруднялась выразить свои чувства к Онегину на русском языке, но в то же время поэтом с помощью тонкого художественно-психологического приема раскрывается ее «русская душа». Под подушкой у нее французская книжка, но видит она русские «простонародные» сны.

Мимо всего этого Онегин и проходит. Даже тогда, когда в его охладевшем, давно «потерявшем чувствительность» сердце внезапно вспыхивает настоящее, большое чувство, он увлекается не той Татьяной, какой она была в деревне, «в глуши лесов». Он стал «томиться жаждою любви» к Татьяне, оторванной от своей родной почвы, «неприступной богине роскошной, царственной Невы». А ведь все лучшее в духовном облике Татьяны (ее высокое душевное благородство, искренность и глубина чувств, целомудренная чистота натуры) связано, подсказывает нам поэт, с ее близостью к простому, народному началу. Даже знаменитый, не понятый Белинским ответ ее в сцене финального объяснения с Онегиным: «Но я другому отдана; // Я буду век ему верна» — перекликается со словами народной песни: «Я достануся иному, друг. // И верна буду по смерть мою». Татьяне «душно здесь», в той новой, светской среде, в которой она и стала так мила Онегину; она ненавидит «волненье света», презирает «постылой жизни мишуру», «ветошь» светского «маскарада» — «весь этот блеск, и шум, и чад». Вот почему Татьяна, продолжая любить Онегина, называет его вдруг загоревшуюся любовь к ней «мелким чувством». Здесь она и права и неправа. Повод к внезапной вспышке этой любви был действительно «мелок» («Запретный плод вам подавай, // *А без того вам рай не рай»,— с горькой иронией замечает в связи с этим* Пушкин). Но полюбил Татьяну Онегин искренне и беззаветно.

Термин «лишний человек» получил широкое употребление лет двадцать спустя после пушкинского романа, с появлением «Дневника лишнего человека» Тургенева (1850). Но слово «лишний» в применении к Онегину находим уже у Пушкина. Онегин на петербургском рауте «как нечто лишнее стоит» (вариант беловой рукописи VII строфы восьмой главы). Действительно, образ Онегина — первый в той обширной галерее «лишних людей», которая так обильно представлена в последующей русской литературе. Генетически возводя литературный тип «лишнего человека» к образу Онегина, Герцен точно определил социально-историческую обстановку, в которой складывался этот характер: «Молодой человек не находит ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия.

И, однако, именно в этом обществе он осужден жить, ибо народ еще более далек от него... между ним и народом ничего нет общего».

Разобщенность между носителями передового сознания, передовых освободительных идей и народом — трагическая черта всего дворянского периода русского революционного движения. В этом причина декабрьской катастрофы, поставившей, по словам Герцена, перед всеми мыслящими людьми «великий вопрос» о преодолении этого разрыва. В «Евгении Онегине», в том виде, как он был оформлен автором для печати, не только нет ответа на этот вопрос, но нет и его прямой постановки. Нет в романе и непосредственно политической тематики. Вместе с тем даже и в этом виде он весь овеян дыханием современности. В трагических исходах судеб двух типичных представителей русской молодежи XIX века, не удовлетворенных своей жизнью и далеких от народа, явно сквозит общая проблематика эпохи, дает себя чувствовать общественная атмосфера периода декабрьского восстания.

Особенно остро и живо современники ощущали злободневную знаменательность гибели романтика Ленского. Убийством Онегиным Ленского, льдом — пламени, были,— считал Герцен,— уничтожены «грезы юности» — поры «надежды, чистоты, неведения»; «Ленский — последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юношеский идеал. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина — Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца; он спешит утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта». Однако Герцен не знал, что Пушкин, говоря перед этим о возможности для Ленского и другого, противоположного пути — «славы» и «добра», намечал еще один столь же выразительный, сколь сугубо конкретно-исторический его вариант: Ленский мог «быть повешен, как Рылеев» (слова из пропущенной и обозначенной в тексте романа только цифрой строфы, которая вследствие именно этих слов, конечно, не могла бы появиться в печати). Как видим, здесь уже открывается прямой просвет в тему декабризма. И этот просвет не случаен. В окончательном тексте лишь глухо упомянуто о политической настроенности Ленского — его «вольнолюбивых мечтах». В рукописях Пушкина этот мотив развит гораздо подробнее. Но и независимо от этих вариантов образ Ленского вызывал у некоторых современников характерные ассоциации: настойчиво указывали в качестве его прототипа на поэта-декабриста Кюхельбекера; «другим Ленским», «полным мечтаний и идей 1825 года» и «сломленным в свои двадцать два года грубыми руками русской действительности» называл Герцен поэта-любомудра Дмитрия Веневитинова.

Еще более интересна попытка постановки темы декабризма в связи с образом Онегина. Развитие фабулы допускало это. Роман не без оснований представлялся многим неоконченным; «Вы говорите мне: он жив и не женат. // Итак, еще роман не кончен»,— не без иронии писал Пушкин в 1835 году. Но и помимо отсутствия традиционной развязки поэт действительно, покинув своего героя «в минуту злую для него», не досказал даже того, чем эта

минута — неизбежное объяснение с мужем Татьяны, заставшим Онегина в неположенный час в комнате жены,— закончилась. Между тем душевное состояние героя на протяжении последней главы романа существенно изменилось. Любовь к Татьяне произвела в нем благодетельный переворот, вернула «чувствительность» его сердцу, омолодила преждевременно постаревшую душу, наполнила его пустое и праздное существование содержанием и смыслом. Влюбленный, «как дитя», Онегин даже «чуть... не сделался поэтом», подобно Ленскому. Последние слова Татьяны, отнявшие у Онегина этот смысл, погасившие всякую надежду на личное счастье, потрясли все его существо.

За год до окончания романа, в 1829 году, во время поездки Пушкина в Закавказье, на театр военных действий, и встреч там с некоторыми из сосланных участников декабристского движения, поэт рассказывал, что по его «первоначальному замыслу» Онегин «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Об устойчивости этого замысла свидетельствует то, что год спустя Пушкин снова попытался было к нему вернуться. Уже после того, как он закончил свой роман, «по крайней мере,— как он сам предупреждал читателей,— для печати», в составе девяти глав и подвел под этим черту, он, видимо, почти сразу же принялся за новую, десятую главу, непосредственно посвященную теме декабризма. Из этой главы, сожженной Пушкиным в день очередной лицейской годовщины, 19 октября 1830 года, до нас дошли лишь зашифрованные поэтом фрагменты первых семнадцати строф, дающих описание исторических событий и деятельности тайных обществ, предшествовавшей восстанию.

Поскольку замысел Пушкина не был осуществлен, Онегин вошел в сознание читателей и критики, в историю русской литературы и русской общественной мысли таким, как он показан в романе — «лишним человеком», «умной ненужностью» (термин Герцена). И именно это способствовало широчайшему обобщающему значению данного образа, делало его типичным не только для 20-х годов, но и для всего дворянского периода русской революционности. «Образ Онегина настолько национален,— писал много позже, в начале 50-х годов Герцен,— что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом». Но уже одно намерение автора сделать Онегина декабристом особенно наглядно показывает, какой жгучей злободневностью был проникнут замысел пушкинского стихотворного романа, какими крепкими нитями был он связан с важнейшими событиями и актуальнейшими общественно-политическими вопросами современности.

Именно это давало право Белинскому назвать пушкинский роман в стихах не только «в высшей степени народным произведением», но и «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!» Действительно, в строфах пушкинского романа русское общество и впервые увидело, и, что еще важнее, впервые поняло себя и причины своих «недугов».

Изображение «исторической эпохи» — своей современности — Пушкин дал не только крупным планом; оно объемно, можно сказать, стереоскопично. С такой же истиной, полнотой, верностью действительности и одновременно величайшей художественностью показан поэтом весь тот пестрый и многокрасочный фон, на котором четко выписывается основная фабульная линия и рельефно выступают образы главных действующих лиц. Гениальный поэт-живописец является здесь и художником-социологом, способным вскрыть и осветить не только причины «болезни века» — «недуга» онегиных, но с удивительной точностью сформулировать, как с восхищением отмечали Маркс и Энгельс («ваш Пушкин уже знал это»), процессы, совершавшиеся в русской экономике того времени.

«Открытие» в «Евгении Онегине» русской действительности,— пишет Добролюбов,— имело не только важнейшее познавательное значение, но и было связано с целым переворотом в области традиционных эстетических представлений и понятий, с замечательным расширением границ самого предмета художественного изображения. Автор «Евгения Онегина» сознательно и демонстративно стирает всякие различия между «изящной» и «низкой природой». В его роман наряду с «поэзией» хлынула широким потоком и «проза» — жизнь как она есть, со всеми ее красками и оттенками, с праздничным и обыденным, патетическим и смешным, трогательным и ничтожным, высокими поэтическими порывами и житейским «пестрым сором».

В пушкинском романе в стихах, словно в фокусе, сходятся лучи от всего, что уже было создано Пушкиным, и от него же падает свет на все последующее творчество поэта. «Онегин» — соединительное звено между Пушкиным 20-х и Пушкиным 30-х годов — Пушкиным-поэтом и Пушкиным-прозаиком, Пушкиным «Руслана и Людмилы» и южных поэм и Пушкиным «Повестей Белкина», «Пиковой дамы», «Капитанской дочки».

Пушкинский роман в стихах стоит у истоков реалистического романа в прозе. Начиная именно с «Евгения Онегина», русская литература становится высокохудожественным отражением реальной русской жизни. От «Героя нашего времени» до романов Гончарова, Тургенева, Толстого — все вершинные создания в области нашего классического романа имеют в «Евгении Онегине» не только своего прямого литературного предка, но и замечательный, во многом непревзойденный художественный образец.

Наконец, автор «Евгения Онегина», главы которого стали появляться раньше таких классических образцов западноевропейского реализма XIX века, как романы Стендаля и Бальзака, первым совершил художественное «открытие действительности» в масштабах развития всей мировой литературы.

То, что́ сказалось уже в первых главах «Онегина» — умение не только увидеть взглядом поэта и запечатлеть кистью мастера художественного слова жизнь человека, общества, народа, но разумом историка и социолога осмыслить настоящее как результат предшествующего исторического развития и вместе с тем разглядеть в нем зерна и ростки будущего,— составляет

одну из важнейших сторон мировоззрения и творческого метода зрелого Пушкина, одну из могучих основ его реализма.

В кругу исторических раздумий Пушкина одно из ведущих мест занимают судьбы русской нации, русского национального государства. Он отдает себе полный отчет, что проблема эта находится в непосредственной связи с другой, прямо подсказывавшейся ему декабристской современностью — борьбой за свободу политическую и социальную. В набросанных еще на юге «Заметках по русской истории XVIII века» основной задачей русского общественно-исторического развития прямо объявляется борьба против «закоренелого рабства». Но вскоре Пушкин начинает сознавать, что в подготовке «великих перемен», замышляемых его друзьями-декабристами, сам народ участия не принимает. Это порождает еще более жгучую потребность разобраться в проблеме отношений между правящим классом и порабощенными народными массами, выяснить причины и следствия роковой разобщенности между ними и передовыми кругами общества. В романтическом плане этот вопрос возник уже в «Цыганах». Он же составляет идейную подоснову романа в стихах. Однако наиболее непосредственно проблема народа, его роли в истории, его исторических судеб ставится в начатой Пушкиным в 1824 году и законченной совсем незадолго до восстания декабристов трагедии «Борис Годунов». «История народа принадлежит поэту»,— утверждал в эту пору Пушкин. И в своей трагедии он подходит к истории именно как поэт, стремясь оживить ее, развернуть яркую и полнокровную картину прошлого — людей и событий давно минувших времен. В то же время он настойчиво и последовательно старается «воскресить минувший век во всей его истине». В результате было создано произведение в высшей степени своеобразное и в своем роде единственное: несравненное по своей художественной силе и вместе с тем почти совершенно лишенное художественного вымысла.

Задачам, поставленным перед собою поэтом, никак не соответствовали традиционные формы драматургии классицизма. И поэт-драматург, противопоставляя «придворному обычаю» трагедий французских «классиков» «народные законы» пьес Шекспира, вступает на путь коренного «преобразования драматической нашей системы», «устарелых форм нашего театра» — путь дерзания и новаторства.

Вместо предписанных поэтикой классицизма двадцати четырех часов действие «Бориса Годунова» охватывает период в семь с лишним лет. Отброшен принцип «единства места»: действие трагедии развертывается с необыкновенной калейдоскопичностью — переходит из дворца на площадь, из монастырской кельи в корчму, из палат патриарха на поля сражений, даже переносится из одной страны в другую — из России в Польшу. Это позволяет поэту обнаружить скрытые пружины исторических событий. То, что совершается во дворце, объясняется тем, что происходит в боярских хоромах, а последнее обусловлено тем, что творится на площади.

В «Борисе Годунове», не имеющем центральной любовной интриги, обязательной для поэтики классицизма, огромное количество (около шестиде-

сяти) действующих лиц, представителей всех слоев тогдашнего общества. Вопреки традициям, здесь нет и главного героя. Трагедия называется именем царя Бориса, но она не только не кончается его смертью, но и фигурирует он всего лишь в шести сценах из двадцати трех. Вся пестрая и многоликая Русь эпохи «многих мятежей» проходит перед нами в живой и движущейся, шумящей, волнующейся, «как море-окиян», полной событий панораме. Русь конца XVI — начала XVII века и является главным действующим лицом, своего рода коллективным героем пушкинской трагедии.

По-шекспировски «вольно и широко», мастерски пользуясь средствами речевой характеристики, лепит Пушкин человеческие характеры,— в этом с особенной силой сказывается его новый художественно-реалистический метод.

Борис Годунов — отнюдь не традиционное амплуа классического «злодея»: он не только «цареубийца», через кровь Димитрия пришедший к власти, но и умный правитель, и любящий отец, и усталый, ощущающий себя глубоко несчастным человек. С таким же разнообразием, многосторонностью разработан образ его противника — Самозванца, резко противостоящий штампованному «злодею» из трагедии «Димитрий Самозванец» популярнейшего драматурга XVIII века Сумарокова. Пушкин рисует характеры и Бориса и Самозванца, как и вообще всех персонажей трагедии, в тесной и непосредственной связи с духом и особенностями исторической эпохи. Историчность характеров, сочетающаяся с психологической правдой, составляет одно из основных и существенных свойств реализма Пушкина в «Борисе Годунове».

Перечисляя в одной из незаконченных статей 1830 года, «что нужно драматическому писателю», Пушкин называл наряду с живостью художественного воображения «философию» и «государственные мысли историка». В изложении исторических событий поэт в основном следовал за «Историей Государства Российского» Карамзина. Из нее взял он почти весь фактический материал, у него же заимствовал недоказанную версию об убийстве царевича Димитрия по приказу Бориса. Однако, следуя Карамзину «в светлом развитии происшествий», Пушкин решительно отверг проникнутую консерватизмом и монархическим духом общую схему его «Истории».

В пушкинской трагедии угрызения совести царя-преступника — не главное; в ней показан «мирской суд» над Борисом — суд истории, причем убийство Димитрия играет, в сущности, второстепенную роль, а появление Самозванца — всего лишь последний толчок, давший возможность вырваться наружу враждебным царю Борису социально-историческим силам. Не поединок между Борисом и Самозванцем, а именно борьба социальных сил составляет истинный предмет основного конфликта пушкинской трагедии.

Существенной частью его является борьба родовитого боярства с Борисом, в которой принимают активное участие и предки самого поэта — «род Пушкиных мятежный». Но этим социальное содержание трагедии отнюдь не исчерпывается. Борис Годунов, сокрушавший старинное боярство, был вместе с тем и царем-крепостником. Именно этим и объясняется глубокое недоверие и нелюбовь народа к Борису, на что и рассчитывают в борьбе с ним

мятежные бояре. И вот в трагедию Пушкина включается главная социальная сила, имеющая решающее значение — «мнение народное».

Мысль эта составляет один из важнейших философско-исторических тезисов Пушкина, связанных — пусть подспудно — с его раздумьями о судьбе переворота, подготовлявшегося декабристами в отрыве от широких народных масс. С особенной выразительностью сказывается это в финале трагедии, завершающейся знаменитой фразой: «Народ безмолвствует». В этом «безмолвии» заключена вся дальнейшая судьба Самозванца. Пока народ был на его стороне, он, беглый монах, «сорвал порфиру» с могучего московского царя; поскольку народ от него отвернулся, его ждут быстрое свержение и бесславная гибель. То, что Пушкин выносит свой приговор именем суда народного, является самой замечательной чертой его исторической трагедии, которая действительно, не только по всему своему совершенно новому драматургическому строю, но и по идейному содержанию, может быть названа трагедией народной.

Народная трагедия «Борис Годунов» является вместе с тем и трагедией народа. Только благодаря «мнению народному», народной поддержке, противникам Бориса удалось его одолеть, но самому народу от этого не стало легче. Его победа была полностью узурпирована боярами, которые снова, как и в первых сценах трагедии, властно выступают на передний план, распоряжаются, действуют, повелевают. Но явно враждебное «безмолвие» народа как бы свидетельствует, что так будет не всегда.

Сегодня народ еще только «безмолвствует», но завтра он может заговорить, и тогда — горе тому, против кого он подымет свой голос. В безмолвии народа — не только судьба Самозванца, в нем затаен грозный гул грядущих крестьянских восстаний под предводительством Болотникова, Разина, Пугачева.

Вскоре после окончания «Бориса Годунова» и параллельно с работой над «Онегиным» Пушкин задумал создать ряд новых драматических произведений на сюжеты из самых разных исторических эпох и жизни разных народов. Еще во время михайловской ссылки в его творческом сознании возникли замыслы нескольких пьес. После написания в Болдине последней главы «Онегина» три из них получили необычайно стремительное воплощение: 23 октября Пушкиным был окончен «Скупой рыцарь»; всего через два дня—«Моцарт и Сальери», неделю спустя — «Каменный гость». Наконец, еще через день была завершена и четвертая из «маленьких трагедий»—«Пир во время чумы».

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? — спрашивает Пушкин в одном из набросков 1830 года и отвечает: — Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная». Если в «Борисе Годунове» Пушкина преимущественно интересовали большие исторические события, «судьба народная», то в «маленьких трагедиях» поэт сосредоточивается на «судьбе человеческой» — глубочайшем психологическом анализе человеческой души, охваченной всепоглощающей, но эгоистической и потому разрушительной страстью: скупостью, завистью, чувственностью.

В качестве носителей этих страстей Пушкин берет натуры незаурядные, людей большого ума, огромной силы воли. Но поскольку страсти, ими владеющие, носят резко индивидуалистический, сугубо эгоистичный характер, они неизбежно влекут их на стезю злодейств и преступлений. Скупой рыцарь воздвигает здание своего бесплодного могущества страшной ценой человеческих «слез, крови и пота». Сальери — этот «жрец» «чистого искусства», страстно любящий музыку, однако не ради того, что она несет людям, а ради нее самой,— злодейски убивает Моцарта, тщетно пытаясь оправдать в своих собственных глазах это убийство тем, что оно якобы осуществляется во имя восстановления попранной справедливости, во имя спасения искусства. В то же время именно незаурядность натуры сообщает образам и Скупого рыцаря и Сальери подлинно трагическую силу. Особенно выразителен образ барона Филиппа. Зловещая, демоническая фигура средневекового рыцаря-ростовщика с его беспощадностью, попранием в себе всех человеческих чувств и стремлений, ненасытной алчностью, безумными мечтами о безраздельном господстве над миром вырастает в зловещий образ-символ, словно бы олицетворение «века-торгаша», как Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом» назвал свою современность,— эпоху все более отчетливо складывавшихся новых буржуазных общественных отношений.

Главное лицо «Каменного гостя» — легендарный испанский соблазнитель — является одним из так называемых «вечных» литературных образов, который подвергался неоднократной разработке в различных европейских литературах и до и после Пушкина. Тем рельефнее выступает оригинальность и своеобразие пушкинской трактовки характера Дон Гуана. Его герой, любящий жизнь и ее наслаждения и смело играющий со смертью, веселый, предприимчивый, беспечно-дерзкий и всегда влюбленный, вызывает невольную симпатию, и не только со стороны обольщенных им женщин. При всей мужественности Дон Гуана есть в нем и какая-то пленительная детскость. «Я счастлив! ...Я счастлив, как ребенок!» — в восторге восклицает он, добившись у Доны Анны согласия на свидание. Однако в своем беспечном и бездумном эгоизме, в готовности обнять весь мир только потому, что сам он чувствует себя до краев переполненным счастьем, Дон Гуан совершает тягчайшее нравственное преступление: зовет статую убитого им командора прийти к дому своей вдовы и «стать у двери на часах», пока он, его убийца, будет наслаждаться ее ласками. Так вскрывается Пушкиным глубочайшая аморальность эгоистического донжуанизма.

Пафос четвертой «маленькой трагедии» — «Пира во время чумы» — торжество человеческого духа над смертью. В песне Мери с исключительной силой выражена чистота и самоотверженность большого женского чувства. Гимн председателя пира — Вальсингама исполнен упоения борьбой, непреклонного мужества, смело бросающего вызов всему, что грозит человеку гибелью. Но перед лицом смертельной угрозы Вальсингам, как и Дон Гуан, становится на путь эгоистических, чувственных услад, особенно обостряемых близостью смерти. И в этой «маленькой трагедии» нет никакого морализиро-

вания. Вальсингам отклоняет традиционную (религиозную) стезю: не идет за священником. Но «глубокая задумчивость» председателя, которой завершается «Пир», особенно знаменательна.

В соответствии с основным заданием болдинского драматического цикла существенно меняется по сравнению с «Борисом Годуновым» и форма новых пьес Пушкина. Раскрывая характеры с исключительной широтой, разнообразием и углубленностью, которые так восхищали его в Шекспире, поэт еще больше конденсирует «узкую форму» трагедии классицизма. В этих тесных рамках он с захватывающим драматизмом и исключительной глубиной развертывает трагедию души, одержимой страстью, которая поднята на высоту идеи, и идеи, которая приобрела всю силу страсти. В дальнейшем становлении и развитии русского реализма «маленьким трагедиям» принадлежит выдающаяся роль. Они как бы дополняют пушкинский роман в стихах. В «Евгении Онегине» были впервые осуществлены принципы реалистической типизации. В «маленьких трагедиях» заключено основополагающее начало того проникновенного и бесстрашного анализа диалектики человеческой души, который составит одну из сильнейших сторон последующего русского реализма. Этот опыт осваивают и развивают в своих романах Толстой и особенно Достоевский.

Автору «маленьких трагедий» в такой степени, как, пожалуй, никому другому из русских писателей, была свойственна способность с исключительным художественным проникновением «описывать совершенно сторонний мир», говоря словами Белинского, «быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни», рисовать природу и нравы даже никогда не виданных им стран. Каждая из «маленьких трагедий» отличается своей отчетливо выраженной национальной окраской. В то же время их объединяет «истинная национальность» Пушкина, который, изображая «сторонний мир», «глядит на него глазами своей национальной стихии».

Интерес к людям и явлениям «стороннего мира» ни в какой мере не ослабляли пристального внимания Пушкина к русской действительности. Одновременно с завершением «Скупого рыцаря» и «Моцарта и Сальери» было написано стихотворение «Румяный критик мой...», созданы поэма-повесть «Домик в Коломне» и две первые повести из цикла «Повестей Белкина», велась работа над «Историей села Горюхина».

В развитии русской художественной прозы основополагающее значение Пушкина, пожалуй, особенно велико. Здесь у него почти не было предшественников. На гораздо более низком уровне по сравнению со стихами находился и прозаический литературный язык. Поэтому перед Пушкиным вставала особо важная и нелегкая задача обработки самого материала данной области словесного искусства.

Процесс становления и утверждения в творчестве Пушкина русской художественной прозы, которая стояла бы на уровне его достижений в области стиха, был начат им сравнительно поздно, в 1827 году, когда он принялся за работу над историческим романом «Арап Петра Великого».

Повествовательные произведения на темы из русской истории были у нас и до Пушкина. Но в них было весьма мало исторического. Русские люди выступали либо в патетическом облике античных героев (повесть Карамзина «Марфа Посадница»), либо наделялись сентиментальной «чувствительностью» (его же «Наталья, боярская дочь»). Не было в этих произведениях и сколько-нибудь правдивого изображения соответствующей исторической эпохи.

Пушкин несколько романтизировал облик героя — своего прадеда по матери, африканца Абрама Петровича (в романе Ибрагим) Ганнибала. Но в то же время он сумел на крайне ограниченном пространстве дать правдивую и вместе с тем необыкновенно красочную и остро выразительную картину жизни и быта Петровской эпохи — периода ломки всего старого, отжившего и создания новой русской государственности. Тут и резкие противоречия, антагонизм «старины» и «новизны» и вместе с тем сложность, неоднородность самой «новизны», заключавшей в себе наряду с добрыми семенами и зачатки дальнейших отрицательных явлений русской жизни. Последнее наглядно олицетворено в проходящих почти по всем главкам романа резко контрастных образах Ибрагима, предка поэта, и Корсакова — своего рода «предка» пушкинского графа Нулина.

В романах Вальтера Скотта Пушкина особенно привлекало умение писать о прошлых веках без ходульной напыщенности, присущей трагедиям классицизма, без «чопорности чувствительных романов» и без ложновеличавого «исторического» пафоса. Подобным, говоря словами Пушкина, «домашним образом» он начал давать историческую эпоху уже в «Борисе Годунове». Полностью так показана она в «Арапе Петра Великого». Особенно проявляется это в обрисовке самого Петра. «Шекспир, Гете, Вальтер Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям»,— подчеркивал Пушкин. Именно так и вырастает с самого начала перед читателями даваемая в основном через восприятие «не раба, а наперсника» — Ибрагима совсем простая, человеческая и вместе с тем в высшей степени импозантная фигура царя-преобразователя. Земное божество поэтов-одописцев XVIII века сводится Пушкиным с условных, одических «небес», ставится на «землю»; иконописный лик превращается в реальный исторический портрет «человека высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту», который, «облокотясь на стол, читал гамбургские газеты». Простота образа Петра, намеченная уже в «Стансах» (1826) рифмами «плотник» — «работник», была одним из первых замечательных достижений Пушкина-прозаика.

Наряду с совершенно новой трактовкой образа исторического героя — Петра — такие эпизоды романа, как описание ассамблеи или обеда у боярина Ржевского, по силе исторической и художественной правды выглядели на фоне предшествовавшей и современной Пушкину литературы подлинным откровением.

Но взыскательный художник был не удовлетворен своим первым прозаическим опытом и оставил работу над ним. Многочисленные и тоже не

завершенные опыты в области художественной прозы (наброски повестей, так называемого «Романа в письмах») почти непрерывно делались Пушкиным и в последующие два-три года.

Цикл «Повестей Белкина» явился первым завершенным прозаическим творением Пушкина.

Для писателя-реалиста, воссоздающего, воспроизводящего жизнь, формы повести и романа в прозе были особенно подходящими. Они привлекали Пушкина и своей гораздо большей, чем стихи, доходчивостью до самых широких читательских кругов. «Повести и романы читаются всеми и везде»,— отмечал он.

Облик кроткого и смиренного И. П. Белкина, возникающий из предисловия к ним «издателя» и из автобиографического предисловия якобы самого Белкина к «Истории села Горюхина», набросан Пушкиным в добродушно-шутливых тонах. «Пиру воображенья», как характеризовал творческий процесс поэт-романтик в «Разговоре книгопродавца с поэтом», демонстративно противостоит в «Повестях Белкина» «простой пересказ» разного рода происшествий, имевших место в жизни самых обыкновенных людей. Но в этот бесхитростный «пересказ» Пушкин сумел внести столько глубокого гуманного чувства, меткой наблюдательности, тонкого юмора и мягкой иронии и вместе с тем столько жизненной правды, широких типических обобщений, что его «Повести Белкина» являются по существу началом русской высокохудожественной реалистической прозы.

В повестях Пушкин существенно расширяет, демократизирует круг явлений действительности, входящих в сферу его творческого внимания. Наряду с картинами поместной жизни («Метель», «Барышня-крестьянка») перед нами развертывается быт армейского офицерства («Выстрел»), городских ремесленников («Гробовщик»), мелкого чиновничества («Станционный смотритель»), наконец, жизнь крепостного крестьянства («История села Горюхина»).

Если в «Арапе Петра Великого» Пушкин снял с ходулей крупного исторического деятеля, то в «Станционном смотрителе» он приподнял своего маленького, приниженного героя, явив в этой повести, как и вообще в «Повестях Белкина», поистине «натуральную» действительность, жизнь, которая «живет», как восторженно твердил устами одного из своих героев Достоевский. Этим объясняется огромное значение, которое имел «Станционный смотритель» в дальнейшем развитии литературы. Образ смотрителя был прямым предшественником Башмачкина из «Шинели» Гоголя и всех тех «бедных людей», которые вскоре начинают заполнять страницы повестей и романов писателей «натуральной школы» — колыбели русского реализма второй половины XIX века.

Как и «маленькие трагедии», «Повести Белкина» отличаются предельной экономией художественных средств. С первых же строк Пушкин знакомит читателя со своими героями, вводит его в круг событий. Так же скупа и не менее выразительна обрисовка характеров персонажей. Автор почти не дает внешнего портрета героев, почти не останавливается и на их душевных

переживаниях. В то же время облик каждого из персонажей проступает с замечательной рельефностью и отчетливостью из его поступков и речей. «Писателю надо не переставая изучать это сокровище»,— писал Лев Толстой о «Повестях Белкина» знакомому литератору.

К циклу «Повестей» непосредственно примыкает незавершенная и самим Пушкиным не публиковавшаяся «История села Горюхина». Тягость крепостной неволи и свое сочувственное отношение к горестям и бедам закрепощенного крестьянства Пушкин подчеркивает уже названием села: «Горюхино» (в течение долгого времени оно печаталось искаженно: «Горохино»). Стоит только вспомнить приводимую Пушкиным запись помещичьего календаря: «4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде». Подобные места придают нарочито наивной, бесхитростной и вместе с тем исполненной сарказма «Истории» характер явной политической сатиры. Недаром манеру «смиренного» горюхинского летописца подхватил и блестяще развил в своей «Истории одного города» наиболее сильный русский политический сатирик Салтыков-Щедрин. В творчестве самого Пушкина «История села Горюхина» является началом того пути, который привел его к созданию «Дубровского», а затем — «Капитанской дочки».

Социально-бытовой роман «Дубровский» (1832—1833) не был завершен. Но если бы не сохранилось пушкинских планов его продолжения, мы считали бы, что имеем дело с законченным текстом. Фигура «благородного разбойника» Владимира Дубровского несколько романтизирована Пушкиным, зато почти все остальные образы романа — от крепостников-помещиков и продажных чиновников-подьячих до крепостных крестьян — даны с величайшей реалистичностью. Особенно выпукло показана фигура дикого и неистового крепостника-самодура Троекурова. Тонким контрастом к нему является облекающий свои крепостнические замашки и инстинкты в формы культурно-утонченного «европеизированного» изящества князь Верейский. Знаток и любитель искусств, страстный поклонник женской красоты, он принадлежит к тому типу русского вельможества XVIII века — «дней Екатерины», характерный представитель которого сравнительно незадолго до того был ярко нарисован Пушкиным в его послании «К вельможе» (1830).

Глубоко правдивы и обрисованы с большим и подлинным сочувствием, лишенным и тени ложной карамзинской «чувствительности», образы крепостных крестьян, особенно фигура кузнеца Архипа. Жестоко расправившись с приказными, Архип с опасностью для жизни выносит из огня беспомощную кошку. Образом кузнеца Архипа великий художник-реалист возражает не только реакционным ненавистникам народа — крестьянства, но словно бы отвечает и себе самому на те опасения «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», которые были свойственны ему как политическому мыслителю.

Особое место среди прозаических произведений Пушкина 30-х годов занимает небольшая по объему, но насыщенная глубоким социально-исто-

рическим смыслом повесть «Пиковая дама» (1833). В образе главного действующего лица, Германна, с его «профилем Наполеона, а душой Мефистофеля», Пушкин создал тип того нового, буржуазного «героя» — хищника-стяжателя, который стал возникать в это время в русской действительности. «Деньги, вот чего алкала его душа!» — с горечью восклицает разгадавшая Германна Лиза. Человек «сильных страстей и огненного воображения», Германн скрытен, честолюбив, азартен в душе, но расчетлив и бережлив почти до скупости. Ради достижения богатства он готов на все: и увлечь молодую девушку, которую на самом деле не любит, и стать любовником восьмидесятилетней старухи, и даже пойти на преступление. С графической четкостью рисунка даны и остальные образы повести: старой графини, которая была прямо срисована Пушкиным с одной из титулованных старух николаевского двора, и «бедной воспитанницы» Лизы, легкомысленно-беспечного гвардейца Томского и игрока Чекалинского. Описание игры в доме Чекалинского по своему строго эпическому тону и одновременно глубочайшему внутреннему драматизму принадлежит к числу самых замечательных страниц русской повествовательной прозы.

Вообще «Пиковая дама» представляет собой одно из чудес пушкинского искусства. Умение «писать просто, коротко и ясно», проявившееся с такой силой уже в «Повестях Белкина», в «Пиковой даме» достигает еще большего совершенства. Воплощая свой замысел, Пушкин идет прямым путем, ни на минуту — под влиянием внезапных наплывов чувств, капризной игры творческого воображения,— не сходя с него в сторону. Увлекательность фабулы, живость созданных образов, стройность композиции, мастерство повествования, необыкновенно изящного в своей простоте и вместе с тем проникнутого тончайшей иронией,— все это делает «Пиковую даму» одним из лучших образцов новеллы в мировой литературе.

В 30-е годы в связи с резко усилившимися крестьянскими волнениями, в которых современники готовы были видеть начало «новой пугачевщины», Пушкин настойчиво обращается к теме крестьянского восстания. Этой темы он касается в планах продолжения «Истории села Горюхина», видное место занимает она в «Дубровском».

Во весь рост ставится эта тема в последнем большом законченном творении Пушкина «Капитанская дочка».

Задумав повесть-роман из времени крестьянской войны 70-х годов XVIII века, Пушкин отправляется на места, где происходили события,— в Оренбургские степи, в Поволжье, знакомится с природой и бытом края, осматривает поля сражений, расспрашивает стариков очевидцев, собирает изустные рассказы и предания о Пугачеве. По добытым им архивным материалам и первоисточникам он тщательно и пытливо изучает интересующую его эпоху. О серьезности и основательности этого изучения свидетельствует специально-исторический труд, предварительно осуществленный Пушкиным и имевший для своего времени важное научное значение,— «История Пугачева» (1833—1834), названная по требованию Николая I «Историей Пу-

гачевского бунта». И только после того, как исторический материал был Пушкиным совершенно освоен, а «История» написана и опубликована, он приступает к реализации издавна вынашиваемого замысла своего романа. В отличие от Вальтера Скотта и в особенности его многочисленных подражателей, включавших в свои произведения немало внефабульного историко-археологического материала, в «Капитанской дочке» собственно исторический материал нигде не разрывает художественной ткани повествования, полностью творчески переплавлен.

Для наиболее верного воссоздания изображаемой эпохи Пушкин наряду с историческими источниками и документами широко использует те произведения художественной литературы XVIII века, в которых в большей или меньшей степени отразилась жизнь того времени и которые являлись своего рода документами эстетическими, художественными. Специфически литературная атмосфера XVIII века сообщается Пушкиным своему роману то посредством эпиграфов к отдельным главам (из комедий Княжнина, из Фонвизина, из Хераскова), то цитатами из Фонвизина, непосредственно введенными в самый текст, то любовной песенкой Гринева, написанной в традиции Тредиаковского — Сумарокова. В процессе работы над характерами своих героев, особенностями их мышления, речи Пушкин использует сатирическую литературу последней трети XVIII века. Произведения Фонвизина, которого Пушкин называл «из перерусских русским», явились для него одним из основных источников познания интересовавшей его эпохи. Однако, стремясь показать жизнь того времени во всей полноте, Пушкин снимал с создаваемых им образов и картин односторонне сатирическое освещение, вместо острых карикатур рисовал живые, полнокровные человеческие характеры. Широко используется Пушкиным и фольклор. Из семнадцати эпиграфов «Капитанской дочки» десять заимствованы из народного творчества.

Как ни в одном другом произведении Пушкина, особенно видное место в «Капитанской дочке» отведено народу. В сюжет не только введено большое количество персонажей из народа (их примерно столько же, сколько дворянских), но многие из них развернуты в исключительно яркие, полновесные художественные образы. Это прежде всего образы Пугачева и Савельича.

Пушкинский Савельич, как и указанный в самом романе литературный его прототип — дядька Шумилов из «Послания к слугам моим» Фонвизина, наивно убежден, что крепостные крестьяне существуют лишь для того, чтобы всю жизнь работать на своих господ. Но его преданность господам далека от рабской приниженности. В ответ на грубые, несправедливые упреки барина в письме к нему Савельич пишет: «...я не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос». Большое внутреннее благородство, душевное богатство натуры полностью раскрываются в совершенно бескорыстной и глубоко человечной привязанности бедного, одинокого старика к своему питомцу. «Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, то есть которого больше всего жаль в повести»,— писал Пушкину В. Ф. Одоевский.

Еще бóльшим «чудом» является в романе образ Пугачева. В «Истории Пугачева» Пушкин не пошел ни по «пошлому» (его собственное определение) пути тенденциозного «изничтожения» вождя крестьянского восстания Пугачева, ни по пути его идеализации, а дал его образ со всей доступной ему «истиной исторической». Несомненно, именно за это проповедник реакционной теории «официальной народности» министр народного просвещения Уваров объявил пушкинский труд «возмутительным сочинением».

Образ вождя народного восстания предстает в романе Пушкина во всей его суровой социально-исторической реальности. Как и кузнец Архип из «Дубровского», Пугачев беспощаден к своим классовым врагам, к тем, кто не хочет признавать законности его власти. Но он прав, обращаясь к Гриневу: «Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья». Действительно, ему в высшей степени присуще чувство справедливости. Как богатырь русского былинного эпоса, он вступается за всех слабых, обездоленных. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — грозно вопрошает он. Пугачев способен на глубокую признательность, памятлив на добро (его отношение к Гриневу). И все это отнюдь не поэтический вымысел. Именно таким предстает он в дошедших до нас и в значительной мере, несомненно, известных Пушкину народных песнях, преданиях, сказах. В то же время Пушкин особенно ярко показал в Пугачеве те черты «смелости и смышлености», которые считал характерными для русского крестьянина и вообще для русского человека. Его Пугачев отличается широтой и размашистостью натуры («Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай»), вольным и мятежным духом, героической удалью и отвагой.

В 1824 году Пушкин назвал предшественника Пугачева Степана Разина «единственным поэтическим лицом в русской истории». В высоко поэтическом ключе развертывается им и образ самого Пугачева. Такова сцена пения Пугачевым и его товарищами любимой ими «простонародной» «бурлацкой» песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка». С «каким-то диким вдохновением» рассказывает Пугачев Гриневу народную калмыцкую сказку, смысл которой в том, что миг вольной и яркой жизни лучше многих лет жалкого прозябания. Щедро наделен Пугачев «Капитанской дочки» и тем «веселым лукавством ума, насмешливостью и живописным способом выражаться», которое Пушкин считал характерным свойством русского человека — «отличительной чертой в наших нравах».

В период работы над «Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой» Пушкин много размышлял над проблемой народного, крестьянского восстания. С этим связаны его раздумья о личности и творчестве Радищева. В противоположность Радищеву Пушкин не верил в целесообразность крестьянского восстания, возможность его успеха. Устами Гринева он называет его «бунтом бессмысленным и беспощадным». Тем значительнее пушкинский образ Пугачева, в котором вместо исчадия зла перед читателем предстало яркое воплощение многих замечательных черт русского национального характера.

В «Евгении Онегине» была показана роковая оторванность лучших людей из дворян от народа и драматическая в связи с этим их судьба. «Капитанская дочка» — поиски путей к сближению с народом. Карамзинская иллюзия благоденствия довольных своей участью крестьян под мудрым правлением отца-помещика — патриархальные крепостнические отношения — снимается образом Савельича. В то же время в результате глубокого изучения истории Пушкин окончательно снимает иллюзии «Дубровского»,— возможность объединения обиженного дворянина с крепостным крестьянством в общей борьбе против того политического строя, в котором руководящая роль принадлежит «новой знати». «Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства... выгоды их были слишком противуположны»,— замечает Пушкин в «Истории Пугачева». И в окончательной редакции романа, в отличие от его первоначальных планов, на сторону Пугачева переходит не противник «новой знати», а типичный, беспринципный представитель ее Швабрин. Наоборот, «старинный» дворянин Гринев, воспитанный в наиболее симпатичных Пушкину традициях своего класса, сберег свою «честь» незапятнанной. Вместе с тем Гринев оказался тесно связанным с Пугачевым не только силой обстоятельств, но и крепкой взаимной симпатией. Разрешить на таком пути антагонизм между двумя классами, конечно, тоже было немыслимо. Но из всех возможных иллюзий данная иллюзия, основанная на «уважении к человеку как человеку», в чем Белинский видел существо пушкинского гуманизма, несомненно являлась самой высокой и благородной, открывавшей наибольший просвет в будущее, в мир иных, подлинно человеческих отношений между людьми.

«Капитанская дочка» нечто вроде «Онегина» в прозе»,— заметил Белинский. И это в самом деле так. Из пушкинского романа в прозе, в противоположность его же роману в стихах, нарочито исключено субъективное начало — личность автора. Но по энциклопедической широте охвата русской действительности последней трети XVIII века «Капитанская дочка» представляет собой явление, аналогичное «Онегину». Из патриархальной дворянской усадьбы центральных областей России действие переносится в маленькую глухую крепость на далекой степной окраине; из затерянного в бесконечных снежных просторах казачьего постоялого двора («умета») и простой крестьянской избы — в великолепную резиденцию императрицы Екатерины II, парки и дворец Царского Села. Перед нами проходят типические образы людей того времени — провинциального и столичного дворянства, высшего и низшего офицерства, солдат, казаков, представителей угнетенных царизмом народностей, крепостных крестьян, безропотно несущих свое иго, и крестьян, восставших против своих вековых угнетателей.

«Капитанская дочка» была закончена Пушкиным 19 октября 1836 года, в день очередной, притом особенно торжественной, двадцать пятой годовщины открытия Лицея. По установившейся среди лицеистов первого выпуска традиции — «старинным обычаям Лицея» — отметить ее собрались все

те из них, кто находился в Петербурге. Пушкин стал читать собравшимся написанные им в связи с этим стихи: «Была пора: наш праздник молодой // Сиял, шумел и розами венчался...» Однако, едва поэт, рассказывает один из присутствовавших, начал читать первую строфу, как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать чтения... Предчувствие не обмануло Пушкина: двадцать пятая годовщина Лицея оказалась для него последней.

Черные тучи издавна, почти с самого возвращения поэта из ссылки, начали все грознее сгущаться над ним. Ни гнет николаевской реакции, ни цензурные рогатки, ни попечительные «заботы» шефа жандармов, ни оскорбительные милости царя, надевшего на великого поэта «шутовской кафтан» — давшего ему придворный чин камер-юнкера,— не были в силах подавить его «вольный глас», уничтожить его «звонкую широкую песню». Можно было уничтожить только ее творца.

Поэт погиб «в расцвете сил, не допев своих песен и не досказав того, что мог бы сказать» (Герцен), погиб в том возрасте, в каком Лев Толстой едва начинал свою работу над «Войной и миром».

Герцен прав. Еще много и много великих творений было бы создано Пушкиным, останься он жив. Помимо нескольких замечательных произведений, которые он не успел закончить, в его рукописях имеется немало планов, заготовок, набросков, связанных с замыслами ряда монументальных произведений — и по своему масштабу, и по заключенному в них жизненному материалу — предвосхищающих такие великие создания последующей русской классики, как лермонтовский «Герой нашего времени», как «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. Мало того, развивающаяся после смерти Пушкина все нараставшими темпами историческая жизнь России, Европы и всего человечества, «просвещенья дух», все ощутимее подготовлявший тоже предугаданное Пушкиным время «открытий чудных» — нашу современность,— безусловно вдохновили бы его на новые великие замыслы и свершения.

Но тот «высокий жребий» — «высокое предназначение», которое было возложено на Пушкина гениальностью его натуры и всей историей развития нашей страны, нашего народа, он полностью выполнил.

Первый национальный поэт — солнце русской литературы — он поднял ее своим творчеством на уровень самых выдающихся созданий мирового искусства слова, одновременно закладывая начала всех начал ее дальнейшего блистательного развития — стремительнейшего движения вперед по впервые проторенным им же путям.

Создатель таких шедевров романтического искусства, как многие его лирические стихотворения, как поэма «Цыганы», Пушкин стал основоположником магистрального направления русской литературы XIX века — реалистического искусства, которому сообщил особый национально-самобытный характер. Сочетая жизненную *правду*, которую он так полно и глубоко воспринимал своим провидящим взором писателя-мыслителя, с *красотой* ее воплощения пером гениального мастера художественного слова, Пушкин,

как никто другой, сумел поднять свои реалистические шедевры на высоту того, что он называл поэзией действительности,— формула, в которой оба составляющие ее слова одинаково значимы, равновелики друг другу. Это тонко и верно подметил один из самых ранних западноевропейских ценителей пушкинского творчества Проспер Мериме. «У Пушкина поэзия чудным образом расцветает как бы сама собой из самой трезвой прозы»,— сказал он Тургеневу и тут же прозорливо добавил: «Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою».

Решительно отвергая прикладное, служебное место и назначение литературы, которое ей придавали писатели XVIII века и некоторые его современники, Пушкин настойчиво утверждал ее суверенное значение. «Цель художества есть *идеал*, а не *нравоучение*»,— писал он незадолго перед смертью. Но это утверждение отнюдь не было проповедью так называемого «искусства для искусства». *Поэт* прежде всего и больше всего, Пушкин по самому существу своему был *гражданином*. Он считал литературу, как искусство слова, одной из важнейших сфер духовной жизни и деятельности людей — «глаголом» пророка, пламенным светочем, жгущим сердца и одновременно озаряющим путь человечеству к реально достижимому идеалу — из мрака к свету, из «железного» «века-торгаша», «жестокого века жестоких сердец» — в век грядущий, когда «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»; путь — в мир гармонических, по настоящему человечных отношений, которые были бы построены по законам красоты, по которым создавал он свое, откликающееся на все стороны бытия, вместившее в себя весь спектр, всю гамму человеческих чувств и переживаний, творчество, свою, то легкую и веселую, а то овеянную светлой печалью, подчас исполненную мучительной тоски, то величаво героическую, а порой глубоко трагичную, но всегда сотканную из солнечных лучей, *поэзию действительности*.

Именно потому так близок, так дорог и так нужен для нас Пушкин. Именно потому *первая любовь* к нему относительно небольшого числа знатоков и ценителей стала на наших глазах непреходящей всенародной любовью. Именно потому, как доброе предвестие, все нарастает, в особенности за последние годы, влечение к пушкинскому творчеству далеко за рубежами нашей Советской Родины — на всех континентах, у многих и многих народов.

Д. БЛАГОЙ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

РОМАН В СТИХАХ

Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire.

*Tiré d'une lettre particulière**.

* Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках,— следствие чувства превосходства, быть может мнимого. *Из частного письма (франц).*

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.

Кн. Вяземский

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня [1].

III

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как *dandy* [2] лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем пежданных эпиграмм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить *vale* *,

* будь здоров *(лат.)*.

Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень,—
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

X

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

XIII. XIV

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий *боливар* [3],
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К *Talon* [4] помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *entrechat* *,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;

* прыжок *(франц.)*.

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел» [5].

XXII

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони,—
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный

И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,—
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом [6].
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но *пантолоны, фрак, жилет,*
Всех этих *слов* на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;

Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали правы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зѐркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV

Что ж мой Опегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой *васисдас*.

XXXVI

Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проспется за́ полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго́ были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный апглийскому *сплину,*
Короче: русская *хандра*
Им овладела попемногу;

Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold,* угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XLII

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает *сплин* [7].

XLIII

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных наслаждений,

Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрàк невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

XLVII

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою [8]
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит [9].
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,

Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И пас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

XLIX

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем [10], жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей [11],
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.

Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин — сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И *far niente* * мой закон.

---

* безделье, праздность *(итал.)*.

Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

LVIII

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.

Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

ГЛАВА ВТОРАЯ

О rus!..
Hor *.
О Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,

* О деревня!.. *Гораций (лат.).*

Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Все это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги,—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да* да *нет;* не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,

И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

VIII

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX

Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И *нечто,* и *туманну даль,*
И романтические розы;
Он пел те дальные страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За *полурусского соседа;*

Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!.. [12]

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От *делать нечего* друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал,—
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.

XV

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор,—
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

XVI

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья:
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;

Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь — разлукой,
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.

XVIII

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы,—
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

XX

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

XXI

Чуть отрок, Ольгою пленепный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседы, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!

Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна... [13]
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство,— больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

XXVI

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию — закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы

Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла; [14]
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них,
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она [15].

XXXII

Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом

Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский *Н* как *N* французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.

XXXVI

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«*Poor Yorick!* [16] — молвил он уныло.—

Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre *

I

«Куда? Уж эти мне поэты!»
— Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
— У Лариных.— «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
— Нимало.— «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...»

II

— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».

* Она была девушка, она была влюблена. *Мальфилатр (франц.).*

— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу...— «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей и пера,
И слез, и рифм et cetera?.. *
Представь меня».— Ты шутишь.— «Нету».
— Я рад.— «Когда же?» — Хоть сейчас.
Опи с охотой примут нас.

III

Поедем.—
Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощапой
Кувшин с брусничною водой.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

IV

Опи дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор [17].
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор:
— Ну что ж, Онегин? ты зеваешь.—
«Привычка, Ленский».— Но скучаешь
Ты как-то больше.— «Нет, равно.

---

* и так далее *(лат.)*.

Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

V

Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна.—
«Неужто ты влюблен в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

VI

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,

VIII

И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклинает их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,

Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон [18],
Который нам наводит сон,—
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

X

Воображаясь героиной
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар [19].
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

XIV

Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,

Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло́ в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? — «Мне скучно,
Поговорим о старине».
— О чем же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче все мне тёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло...— «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

XVIII

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.—
«Да как же ты венчалась, пяня?»
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.

XIX

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...—
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
— Дитя мое, ты нездорова;

Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь...— «Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».
— Дитя мое, господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

XX

«Я влюблена»,— шептала снова
Старушке с горестью она.
— Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные власы,
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке;
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне.

XXI

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда [20].
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,

Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

XXV

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» [21] в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;

Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей,
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни.

XXX

Певец Пиров и грусти томной [22],
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,

С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц:

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ К ОНЕГИНУ

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.
К плечу головушкой склонилась,
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне все равно.

XXXIII

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филипьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».

XXXIV

— Ах! няня, сделай одолженье.—
«Изволь, родная, прикажи».
— Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! не откажи.—
«Мой друг, вот бог тебе порука».
— Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...

К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня...—
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

XXXV

— Как недогадлива ты, няня! —
«Сердечный друг, уж я стара.
Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли...»
— Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоем уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину.— «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова побледнела?»
— Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего.

XXXVI

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.
«Скажите: где же ваш приятель? –
Ему вопрос хозяйки был.—
Он что-то нас совсем забыл».
Татьяна, вспыхнув, задрожала.
— Сегодня быть он обещал,—
Старушке Ленский отвечал,—
Да, видно, почта задержала.—
Татьяна потупила взор,
Как будто слыша злой укор.

XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник пагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель *О* да *Е*.

XXXVIII

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью.
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»
В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;

Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!)

ПЕСНЯ ДЕВУШЕК

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему,
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...

Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.

XLI

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилася она.
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.
Necker *

I. II. III. IV. V. VI
VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,

* Нравственность в природе вещей. *Неккер (франц.).*

Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольцы, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

X

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На *вист* вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;

Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый,—
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, *машинально*)

Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то.
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только *в скобках* замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

XX

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно *родные*.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

XXI

Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Конечно так. Но вихорь моды,
Но своенравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легок.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?

Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

XXIII

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.
Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

XXV

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

XXVII

Поедет ли домой, и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,

Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

XXVIII

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écrirez-vous sur ces tablettes,
И подпись: *t. à. v. Annette*; *
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь *пиит* армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

---

* Что вы напишете на этих листках... Вся ваша Аннета *(франц.)*.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь бог ведает кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать,
И всё одно и то же квакать,

Жалеть *о прежнем, о былом:*
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
«Чужого толка» хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

XXXVIII. XXXIX

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,

Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XL

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

XLI

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева [23]
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы*;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ[24]
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.
Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.
Не хочешь? — поверяй расход,
Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, а завтра тож,
И славно зиму проведешь.

XLIV

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,

Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей;
Давай обедать поскорей!

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной; [25]
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я *Бордо* благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К *Аи* я больше не способен;
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, *Бордо,* подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует *Бордо*, наш друг!

XLVII

Огонь потух; едва золою
Подернут уголь золотой;
Едва заметною струею
Вается пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Еще шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

XLVIII

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей еще мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!.. Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван.

XLIX

«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать.—
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»

— И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
Ну, что ж? — «Согласен».— Как ты мил! –
При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношенье,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачныя постели,
И сладостной любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена... [26]
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.

LI

Он был любим... по крайней мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

ГЛАВА ПЯТАЯ

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

Жуковский

I

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

II

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки *жучку* посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег; [27]
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой! [28]

IV

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

V

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.

Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася,— тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольцы чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро,
Кому поем, тому добро
И слава!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей *кошурка* сердцу дев [29].

IX

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? [30] Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...

С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился.
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна *ах!* а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;

Кругом все глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ! [31]
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

XVIII

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола, гремя, встает;
Все встали; он к дверям идет.

XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает [32]
Татьяну в угол и слагает

Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, говорит, скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека [33],
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной «Мальвиной»
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады
Да Мармонтеля третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленье кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

XXV

Но вот багряною рукою [34]
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком [35]
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

XXVII

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez vous, belle endormie *.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina **
Поставил belle Tatiana ***.

---

* Проснитесь, спящая красавица *(франц.)*.
** прекрасная Нина *(франц.)*.
*** прекрасная Татьяна *(франц.)*.

XXVIII

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране; [36]
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.

XXIX

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский входит,
И с ним Онегин. «Ах, творец! —
Кричит хозяйка: — наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;

Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль, иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом;

Подсели дамы к камельку;
Девицы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII. XXXIX

Но чай несут; девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все.
И бал блестит во всей красе.

XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

XLII

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.

Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Все те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Все видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.

XLV

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.

La sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.

Petr *

I

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II

Все успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

---

* Там, где дни облачны и кратки,
Родится племя, которому умирать не больно.
Петрарка (итал.).

III

Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну,— Таня говорит,—
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

IV

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери [37]
В долг осушать бутылки три.

VI

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,

VII

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем.
Sed alia tempora! * Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

---

* Но времена иные! *(лат.)*

VIII

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль *картель*:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда готов*.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.

А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мненье! [38]
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый
Привез торжественно ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он все боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на́ друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV

«Зачем вечор так рано скрылись?» –
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI. XVII

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.

Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так.— И на крыльцо.

XX

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

XXI

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

XXII

Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,

Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XXIII

Так он писал *темно* и *вяло*
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин верно ждет уж нас».

XXIV

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; по постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.

XXV

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажа[39] стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же,— молвил с изумленьем
Зарецкий,— где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? — сказал Евгений,—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».

Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй,–
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и *честный малый*
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,

Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь,—
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит» — решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,

Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL

Но чтобы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним остановляет,
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII

И шагом едет в чистом поле.
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,

И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, *младость?*
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и вправ и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

XLV

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья! [40]

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?

Дмитриев

Как не любить родной Москвы?

Баратынский

Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.

Грибоедов

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса

Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

II

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

III

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальной стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина [41] птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой,
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек,
Виясь, бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,

И слышен говор ключевой,—
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

VII

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

VIII. IX. X

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою...
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.

XI

Мой бедный Ленский! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!
Увы, подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,

Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам,
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят... На что грустить?..

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.

XVI

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII

«Увидеть барский дом нельзя ли?» –
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «А вот камин;
Здесь барин сиживал один.

XVIII

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...

И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень.
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем

Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя,—
Старушка молвила кряхтя.—
Ведь Оленька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И все грустит она
Да бродит по лесам одна.

XXVI

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь.—
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало.—
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть я взаймы».

XXVII

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,

И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

XXIX

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Прорoем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи [42],
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.

XXXV

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор [43].
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI

— Княжна, mon ange! —
«Pachette!» * — Алина! —
«Кто б мог подумать? Как давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа...»
— А это дочь моя, Татьяна.—
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.

---

* мой ангел! — «Пашенька!» *(франц.)*

XLII

А тот... но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Нехорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

XLIX

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной

И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мелькание, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

LII

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

LIII

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
Между двух теток у колонны,
Не замечаема никем,
Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где *он* являлся ей.

LIV

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули
И локтем Таню враз толкнули,

И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей.—
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал...—
«Кто? толстый этот генерал?»

LV

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.

Byron *

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,

* Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. *Байрон (англ.).*

Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

III

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V

И, позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI

И ныне музу я впервые
На светский раут [44] привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов

И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою
И темной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?

VIII

Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и нет.

IX

— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья

Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была неторопliва,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... * (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

XV

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком, лондонском кругу
Зовется *vulgar* **. (Не могу...

XVI

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.

---

* благородства *(франц.)*.
** вульгарное *(англ.)*.

Оно б годилось в эпиграмме...)
Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII

«Ужели,— думает Евгений,—
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я.—
«Да кто ж она?» — Жена моя.—

XVIII

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет.—
«На ком?» — На Лариной.— «Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».
— О, так пойдем же.— Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,

Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

XIX

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;
Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон.
Проснулся он; ему приносят
Письмо: князь N покорно просит
Его на вечер. «Боже! к ней!..
О буду, буду!» и скорей
Марает он ответ учтивый.
Что с ним? в каком он странном сне!
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?

XXII

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дню конца.
Но десять бьет; он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.

XXIII

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête; *
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.
Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;

---

* разговор наедине *(франц.)*.

Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

XXIV

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лицы,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий,
На все сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XXVI

Тут был Проласов, заслуживший
Известность низостью души,
Во всех альбомах притупивший,
St.-Priest, твои карандаши;
В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим,
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.

XXVII

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай:
А без того вам рай не рай.

XXVIII

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!

Кто б смел искать девчонки пежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!

XXIX

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

XXX

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет —
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет — и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к *водам*.

XXXII

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной,
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.

ПИСЬМО ОНЕГИНА К ТАТЬЯНЕ

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!

Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.

XXXIII

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...

Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклинает —
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за̀ ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene *, господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,

* и отлично *(итал.)*.

Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит *она*... и все она!..

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta* *
Иль *Idol mio* ** и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

---

* Благословенна *(итал.)*.
** Мой кумир *(итал.)*.

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окны, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;

Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

XLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,

Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по́ свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!

L

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...

О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Конец

ПРИМЕЧАНИЯ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ»

[1] Писано в Бессарабии.

[2] Dandy, франт.

[3] Шляпа à la Bolivar.

[4] Известный ресторатор.

[5] Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.

[6] Tout le monde sut qu'il mettait du blanc; et moi, qui n'en croyais rien, je commençai de le croire, non seulement par l'embellissement de son teint et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès, ouvrage qu'il continua fièrement devant moi. Je jugeai qu'un homme qui passe deux heures tous les matins à brosser ses ongles, peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau.

(Confessions de J. J. Rousseau) [1]

Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой.

[7] Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностию и

---

[1] Все знали, что он употребляет белила; и я, совершенно этому не веривший, начал догадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при помощи специальной щеточки; это занятие он гордо продолжал в моем присутствии. Я решил, что человек, который каждое утро проводит два часа за чисткой ногтей, может потратить несколько минут, чтобы замазать белилами недостатки кожи.

(«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо) (франц.).

строгую чистоту нравов с этою восточною прелестию, столь пленившей г-жу Сталь. (См. *Dix années d'exil* [1].)

[8] Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича:

Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
На взморье далеком сребристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока:
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро.— Была то година златая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иноземца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва отеняются русыми локон волнами.
Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени;
Тогда Филомела полночные песни лишь кончит
И песни заводит, приветствуя день восходящий.
Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры;
Роса опустилась; . . . . . .
Вот полночь: шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; разъехались гости градские;
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо;
Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою;
Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
Где в ночь окликается ратная стража со стражей.
Все спит. . . . . .

[9] Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.
(Муравьев. Богине Невы)

[10] Писано в Одессе.

[11] См. первое издание Евгения Онегина.

[12] Из первой части Днепровской русалки.

[13] Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Фи-

---

[1] «Десять лет изгнания» *(франц.)*.

лат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами.

[14] Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов.

[15] Si j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l'habitude [1] *(Шатобриан)*.

[16] «Бедный Иорик!» — восклицание Гамлета над черепом шута. *(См. Шекспира и Стерна.)*

[17] В прежнем издании, вместо *домой летят*, было ошибкою напечатано *зимой летят* (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю.

[18] Юлия Вольмар — Новая Элоиза. Малек-Адель — герой посредственного романа M-me Cottin. Густав де Линар — герой прелестной повести баронессы Крюднер.

[19] Вампир — повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот — гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar — известный роман Карла Нодье.

[20] Lasciate ogni speranza voi ch'entrate [2]. Скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха.

[21] Журнал, некогда издаваемый покойным А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды печатно извинялся перед публикою тем, что он на праздниках *гулял*.

[22] Е. А. Баратынский.

[23] В журналах удивлялись, как можно было назвать *девою* простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками!*

[24] «Это значит,— замечает один из наших критиков,— что мальчишки катаются на коньках». Справедливо.

[25] В лета красные мои
Поэтический ай
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной, и проч.
(Послание к Л. П.)

[26] Август Лафонтен, автор множества семейственных романов.

[27] Смотри «Первый снег», стихотворение князя Вяземского.

[28] См. описания финляндской зимы в «Эде» Баратынского.

[29] Зовет кот кошурку
В печурку спать.
Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть.

---

[1] Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его в привычке *(франц.)*.

[2] Оставьте всякую надежду, вы, сюда входящие *(итал.)*.

[30] Таким образом узнают имя будущего жениха.

[31] В журналах осуждали слова: *хлоп, молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» *(Сказка о Бове Королевиче). Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопание,* как *шип* вместо *шипения:*

Он шип пустил по-змеиному.

(Древние русские стихотворения)

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.

[32] Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность.

[33] Гадательные книги издаются у нас под фирмою Мартына Задеки, почтенного человека, не писавшего никогда гадательных книг, как замечает Б. М. Федоров.

[34] Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою,— и проч.

[35] Буянов, мой сосед,

. . . . . .

Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...

(Опасный сосед)

[36] Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха.

[37] Парижский ресторатор.

[38] Стих Грибоедова.

[39] Славный ружейный мастер.

[40] В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов.

XLVII

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, душ и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

[41] Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной.

[42] Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам* или *Мак-Ева*
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым,
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым,
Или когда поля проймет
Такая знойная засуха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.
(«Станция». Князь Вяземский)

[43] Сравнение, заимствованное у К **, столь известного игривостью изображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу.

[44] Rout, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа.

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Последняя глава «Евгения Онегина» издана была особо, с следующим предисловием:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти каменам, и проч.».

П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит, однако ж, плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным.— Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф.

Е. Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород:

. . . . . перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.

*

Тоска!..

Онегин едет в Астрахань и оттуда на Кавказ.

Он видит: Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали — кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Чрез их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.

*

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто почечуя, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть — хотя на миг.

*

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?

Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Онегин посещает потом Тавриду:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.

*

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, муза! прошлое забудь.

*

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,

И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

*

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

*

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал
Средь пышных, опустелых зал...
Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне.

*

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

*

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавный труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

*

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал.
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все домы на аршин загрязнут,

Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

*

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

*

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

*

Глядишь — и площадь запестрела.
Все оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.

Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

*

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что́ устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном; *
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

*

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,

---

* Известный ресторатор в Одессе.

Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

*

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и — снова захрапит.

*

Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит...

*

Итак, я жил тогда в Одессе...

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

I

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . . . .

II

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . .

III

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . . . .

IV

Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
. . . . . .

V

И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
. . . . . .

VI

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
. . . . . .
Моря достались Албиону
. . . . . .

VII

Авось, арепды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь
. . . . . .
Авось дороги нам исправят
. . . . . .

VIII

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
. . . . . .
Измучен казнию покоя
. . . . . .

IX

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
. . . . . .
Кинжал Л , тень Б
. . . . . .

X

Я всех уйму с моим народом,—
Наш царь в конгрессе говорил,
А про тебя и в ус не дует,
Ты александровский холоп
. . . . . .

XI

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей.
. . . . . .

XII

Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть,
. . . . . .

XIII

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
. . . . . .

XIV

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
. . . . . .

XV

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

XVI

Так было над Невою льдистой,
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли.
Там Пестель для тиранов
И рать набирал
Холоднокровный генерал,
И Муравьев, его склоняя,
И полон дерзости и сил,
Минуты вспышки торопил.

XVII

Сначала эти разговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,

Безделье молодых умов,
Забава взрослых шалунов.
Казалось . . . . . .
Узлы к узлам . . . . .
И постепенно сетью тайной
Россия . . . . . .
Наш царь дремал . . . .
. . . . . .

1823—1831

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Драгоценной для Россиян
памяти
Николая Михайловича
Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностию
посвящает

Александр Пушкин

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

(1598 года, 20 февраля)

Князья Шуйский и Воротынский.

Воротынский

Наряжены мы вместе город ведать,
Но, кажется, нам не за кем смотреть:
Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ.
Как думаешь, чем кончится тревога?

Шуйский

Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.

Воротынский

Но месяц уж протек,
Как, затворясь в монастыре с сестрою,
Он, кажется, покинул все мирское.
Ни патриарх, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли;
Не внемлет он ни слезным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,
Ни голосу Великого Собора.

Его сестру напрасно умоляли
Благословить Бориса на державу;
Печальная монахиня-царица
Как он тверда, как он неумолима.
Знать, сам Борис сей дух в нее вселил;
Что, ежели правитель в самом деле
Державными заботами наскучил
И на престол безвластный не взойдет?
Что скажешь ты?

Шуйский

Скажу, что попапрасну
Лилася кровь царевича-младенца;
Что если так, Димитрий мог бы жить.

Воротынский

Ужасное злодейство! Полно, точно ль
Царевича сгубил Борис?

Шуйский

А кто же?
Кто подкупал напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских
С Качаловым? Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;
И, возвратясь, я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.

Воротынский

Зачем же ты его не уничтожил?

Шуйский

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.

Воротынский

Не чисто, князь.

Шуйский

А что мне было делать?
Все объявить Феодору? Но царь
На все глядел очами Годунова,
Всему внимал ушами Годунова:
Пускай его б уверил я во всем,
Борис тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.
Не хвастаюсь, а в случае, конечно,
Никая казнь меня не устрашит.
Я сам не трус, но также не глупец
И в петлю лезть не соглашуся даром.

Воротынский

Ужасное злодейство! Слушай, верно
Губителя раскаянье тревожит:
Конечно, кровь невинного младенца
Ему ступить мешает на престол.

Шуйский

Перешагнет; Борис не так-то робок!
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...

Воротынский

Так, родом он незнатен; мы знатнее.

Шуйский

Да, кажется.

Воротынский

Ведь Шуйский, Воротынский...
Легко сказать, природные князья.

Шуйский

Природные, и Рюриковой крови.

Воротынский

А слушай, князь, ведь мы б имели право
Наследовать Феодору.

Шуйский

Да, боле,
Чем Годунов.

Воротынский

Ведь в самом деле!

Шуйский

Что ж?
Когда Борис хитрить не перестанет,
Давай народ искусно волновать,
Пускай они оставят Годунова,
Своих князей у них довольно, пусть
Себе в цари любого изберут.

Воротынский

Не мало нас, наследников варяга,
Да трудно нам тягаться с Годуновым:
Народ отвык в нас видеть древню отрасль
Воинственных властителей своих.
Уже давно лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим,
А он умел и страхом, и любовью,
И славою народ очаровать.

Шуйский
(глядит в окно)

Он смел, вот все — а мы... Но полно. Видишь,
Народ идет, рассыпавшись, назад —
Пойдем скорей, узнаем, решено ли.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Народ.

Один

Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.

Другой

О боже мой, кто будет нами править?
О горе нам!

Третий

Да вот верховный дьяк
Выходит нам сказать решенье Думы.

Народ

Молчать! молчать! дьяк думный говорит;
Ш-ш — слушайте!

Щелкалов
(с Красного крыльца)

Собором положили
В последний раз отведать силу просьбы
Над скорбною правителя душой.
Заутра вновь святейший патриарх,
В Кремле отпев торжественно молебен,
Предшествуем хоругвями святыми,
С иконами Владимирской, Донской,
Воздвижется; а с ним синклит, бояре,
Да сонм дворян, да выборные люди
И весь народ московский православный,
Мы все пойдем молить царицу вновь,
Да сжалится над сирою Москвою
И на венец благословит Бориса.
Идите же вы с богом по домам,
Молитеся — да взыдет к небесам
Усердная молитва православных.

Народ расходится.

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Народ.

Один

Теперь они пошли к царице в келью,
Туда вошли Борис и патриарх
С толпой бояр.

Другой

Что слышно?

Третий

Все еще
Упрямится; однако есть надежда.

Баба
(с ребенком)

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука
Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!

Один

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

Другой

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,
Не только там. Легко ли? Вся Москва
Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народом.

Первый

Право, любо!

Один

Что там за шум?

Другой

Послушай! что за шум?
Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд... еще... еще... Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!

Народ
(на коленах. Вой и плач)

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!

Один
(тихо)

О чем там плачут?

Другой

А как нам знать? то ведают бояре,
Не нам чета.

Баба
(с ребенком)

Ну, что ж? как надо плакать,
Так и затих! вот я тебя! вот бука!
Плачь, баловень!
(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)
Ну, то-то же.

Один

Все плачут,
Заплачем, брат, и мы.

Другой

Я силюсь, брат,
Да не могу.

Первый

Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.

Второй

Нет, я слюнёй помажу.
Что там еще?

Первый

Да кто их разберет?

Народ

Венец за ним! он царь! он согласился!
Борис наш царь! да здравствует Борис!

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ

Борис, патриарх, бояре.

Борис

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
Обнажена моя душа пред вами:
Вы видели, что я приемлю власть
Великую со страхом и смиреньем.

Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущим Иоаннам —
Наследую и ангелу-царю!..
О праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты.
От вас я жду содействия, бояре,
Служите мне, как вы ему служили,
Когда труды я ваши разделял,
Не избранный еще народной волей.

Бояре

Не изменим присяге, нами данной.

Борис

Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России,
А там — сзывать весь наш народ на пир,
Всех, от вельмож до нищего слепца;
Всем вольный вход, все гости дорогие.
(Уходит, за ним и бояре.)

Воротынский
(останавливая Шуйского)

Ты угадал.

Шуйский

А что?

Воротынский

Да здесь, намедни,
Ты помнишь?

Шуйский

Нет, не помню ничего.

Воротынский

Когда народ ходил в Девичье поле,
Ты говорил...

Шуйский

Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать.
А впрочем, я злословием притворным
Тогда желал тебя лишь испытать,
Верней узнать твой тайный образ мыслей;
Но вот — народ приветствует царя —
Отсутствие мое заметить могут —
Иду за ним.

Воротынский

Лукавый царедворец!

НОЧЬ.
КЕЛЬЯ В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ
(1603 года)

Отец Пимен, Григорий спящий.

Пимен
(пишет перед лампадой)

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?

Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно...
Но близок день, лампада догорает —
Еще одно, последнее сказанье.
(Пишет.)

Григорий
(пробуждается)

Все тот же сон! возможно ль? в третий раз!
Проклятый сон!.. А все перед лампадой
Старик сидит да пишет — и дремотой,
Знать, во всю ночь он не смыкал очей.
Как я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет; и часто
Я угадать хотел, о чем он пишет?
О темном ли владычестве татар?
О казнях ли свирепых Иоанна?
О бурном ли новогородском вече?
О славе ли отечества? напрасно.
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум;
Все тот же вид смиренный, величавый.
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Пимен

Проснулся, брат.

Григорий

Благослови меня,
Честный отец.

Пимен

Благослови господь
Тебя и днесь, и присно, и вовеки.

Григорий

Ты все писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.

Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался...
И три раза мне снился тот же сон.
Не чудно ли?

Пимен

Младая кровь играет;
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены. Доныне — если я,
Невольною дремотой обессилен,
Не сотворю молитвы долгой к ночи —
Мой старый сон не тих и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

Григорий

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

Пимен

Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.

Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал:
Кромешники в тафьях и власяницах
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игуменом смиренным.
Я видел здесь — вот в этой самой келье
(В ней жил тогда Кирилл многострадальный,
Муж праведный. Тогда уж и меня
Сподобил бог уразуметь ничтожность
Мирских сует), здесь видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней.
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
Мы перед ним недвижимо стояли,
И тихо он беседу с нами вел.
Он говорил игумену и братье:
«Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь алкающий спасенья.
Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл,
Вы все — обет примите мой духовный:
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши».
Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася,
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
А сын его Феодор? На престоле
Он воздыхал о мирном житие
Молчальника. Он царские чертоги
Преобратил в молитвенную келью;
Там тяжкие, державные печали
Святой души его не возмущали.

Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась — а в час его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье,
Зане святый владыка пред царем
Во храмине тогда не находился.
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его как солнце просиял —
Уж не видать такого нам царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.

Григорий

Давно, честный отец,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитрия-царевича; в то время
Ты, говорят, был в Угличе.

Пимен

Ох, помню!
Привел меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был послан послушанье;
Пришел я в ночь. Наутро в час обедни
Вдруг слышу звон, ударили в набат,
Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я
Спешу туда ж — а там уже весь город.
Гляжу: лежит зарезанный царевич;
Царица мать в беспамятстве над ним,
Кормилица в отчаянье рыдает,
А тут народ, остервенясь, волочит
Безбожную предательницу-мамку...
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является Иуда Битяговский.

«Вот, вот злодей!» — раздался общий вопль,
И вмиг его не стало. Тут народ
Вслед бросился бежавшим трем убийцам;
Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред теплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал —
«Покайтеся!» — народ им завопил:
И в ужасе под топором злодеи
Покаялись — и назвали Бориса.

Григорий

Каких был лет царевич убиенный?

Пимен

Да лет семи; ему бы ныне было
(Тому прошло уж десять лет... пет, больше:
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник
И царствовал; но бог судил иное.
Сей повестью плачевной заключу
Я летопись мою; с тех пор я мало
Вникал в дела мирские. Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю. В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны —
А мне пора, пора уж отдохнуть
И погасить лампаду... Но звонят
К заутрене... благослови, господь,
Своих рабов!.. подай костыль, Григорий.
(Уходит.)

Григорий

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца,—
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.

ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА

Патриарх, игумен Чудова монастыря.

Патриарх

И он убежал, отец игумен?

Игумен

Убежал, святый владыко. Вот уж тому третий день.

Патриарх

Пострел, окаянный! Да какого он роду?

Игумен

Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. Смолоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей чудовской братии, а я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и был он весьма грамотен: читал наши летописи, сочинял каноны святым; но, знать, грамота далася ему не от господа бога...

Патриарх

Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! *буду царем на Москве!* Ах он, сосуд диавольский! Однако нечего царю и докладывать об этом; что тревожить отца-государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову али дьяку Ефимьеву; эдака ересь! *буду царем на Москве!*.. Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.

Игумен

Ересь, святый владыко, сущая ересь.

ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Два стольника.

Первый

Где государь?

Второй

В своей опочивальне
Он заперся с каким-то колдуном.

Первый

Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи.—
Все ворожит, что красная невеста.
Желал бы знать, о чем гадает он?

Второй

Вот он идет. Угодно ли спросить?

Первый

Как он угрюм!

Уходят.

Царь
(входит)

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся?..
Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви.

В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком —
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную... всё я!
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ

Мисаил и Варлаам, бродяги-чернецы;
Григорий Отрепьев, мирянином; хозяйка.

Хозяйка

Чем-то мне вас потчевать, старцы честные?

Варлаам

Чем бог пошлет, хозяюшка. Нет ли вина?

Хозяйка

Как не быть, отцы мои! сейчас вынесу.
(Уходит.)

Мисаил

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.

Григорий

Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам

Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я, грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино... да вот и оно!..

Мисаил

Складно сказано, отец Варлаам.

Хозяйка
(входит)

Вот вам, отцы мои. Пейте на здоровье.

Мисаил

Спасибо, родная, бог тебя благослови.

Монахи пьют; Варлаам затягивает песню:
Как во городе было во Казани...

Варлаам
(Григорию)

Что же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?

Григорий

Не хочу.

Мисаил

Вольному воля...

Варлаам

А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шинкарочку...

Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю; ино дело пьянство, а иное чванство; хочешь жить, как мы, милости просим — нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу не товарищ.

Григорий

Пей да про себя разумей, отец Варлаам! Видишь: и я порой складно говорить умею.

Варлаам

А что мне про себя разуметь?

Мисаил

Оставь его, отец Варлаам.

Варлаам

Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда,— да еще и спесивится; может быть, кобылу нюхал...

(Пьет и поет: Молодой чернец постригся.)

Григорий
(хозяйке)

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка

В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий

А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий

Как, заставы! что это значит?

Хозяйка

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий
(про себя)

Вот тебе, бабушка, Юрьев день.

Варлаам

Эй, товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молодка; дело брат, дело! у всякого свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим.

Мисаил

Складно сказано, отец Варлаам...

Григорий

Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка

А господь его ведает, вор ли, разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! Вот хоть отсюда сверотн влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас бедных.

Слышен шум.

Что там еще? ах, вот они, проклятые! дозором идут.

Григорий

Хозяйка! нет ли в избе другого угла?

Хозяйка

Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят, а подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего — чтоб им издохнуть, окаянным! чтоб им...

Входят приставы.

Пристав

Здорово, хозяйка!

Хозяйка

Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.

Один пристав
(другому)

Ба! да здесь попойка идет: будет чем поживиться. *(Монахам)*. Вы что за люди?

Варлаам

Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.

Пристав
(Григорию)

А ты?

Мисаил

Наш товарищ...

Григорий

Мирянин из пригорода; проводил старцев до рубежа, отселе иду восвояси.

Мисаил

Так ты раздумал...

Григорий
(тихо)

Молчи.

Пристав

Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами попьем да побеседуем.

Другой пристав
(тихо)

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы...

Первый

Молчи, сейчас до них доберемся.— Что, отцы мои? каково промышляете?

Варлаам

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только.— Ох плохо, знать пришли наши последние времена...

Хозяйка
(плачет)

Господь помилуй и спаси!

В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила.

Первый пристав

Алеха! при тебе ли царский указ?

Второй

При мне.

Первый

Подай-ка сюда.

Мисаил

Что ты на меня так пристально смотришь?

Первый пристав

А вот что: из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев, слыхал ли ты это?

Мисаил

Не слыхал.

Пристав

Не слыхал? ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?

Мисаил

Не знаю.

Пристав
(Варлааму)

Умеешь ли ты читать?

Варлаам

Смолоду знал, да разучился.

Пристав
(Мисаилу)

А ты?

Мисаил

Не умудрил господь.

Пристав

Так вот тебе царский указ.

Мисаил

На что мне его?

Пристав

Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник — ты.

Мисаил

Я! помилуй! что ты?

Пристав

Постой! держи двери. Вот мы сейчас и справимся.

Хозяйка

Ах, они окаянные мучители! и старца-то в покое не оставят!

Пристав

Кто здесь грамотный?

Григорий
(выступает вперед)

Я грамотный.

Пристав

Вот на! А у кого же ты научился?

Григорий

У нашего пономаря.

Пристав
(дает ему указ)

Читай же вслух.

Григорий
(читает)

«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской...»

Пристав
(Мисаилу)

Как же не ты?

Григорий

«И царь повелел изловить его...»

Пристав

И повесить.

Григорий

Тут не сказано *повесить*.

Пристав

Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить и повесить.

Григорий

«И повесить. А лет ему вору Гришке от роду... *(смотря на Варлаама)* за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое...»

Все глядят на Варлаама.

Первый пристав

Ребята! здесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал.

Варлаам
(вырывая бумагу)

Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка? — как! 50 лет, борода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит. *(Читает по складам.)* «А лет е-му от ро-ду... 20».— Что, брат? где тут 50? видишь? 20.

Второй пристав

Да, помнится, двадцать. Так и нам было сказано.

Первый пристав
(Григорию)

Да ты, брат, видно, забавник.

Во время чтения Григорий стоит потупя голову, с рукою за пазухой.

Варлаам
(продолжает)

«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». Да это, друг, уж не ты ли?

Григорий вдруг вынимает кинжал; все перед ним расступаются, он бросается в окно.

Приставы

Держи! держи!

Все бегут в беспорядке.

МОСКВА, ДОМ ШУЙСКОГО

Шуйский, множество гостей. Ужин.

Шуйский

Вина еще.

Встает, за ним и все.

Ну, гости дорогие,
Последний ковш! Читай молитву, мальчик.

Мальчик

Царю небес, везде и присно сущий,
Своих рабов молению внемли:
Помолимся о нашем государе,
Об избранном тобой, благочестивом
Всех христиан царе самодержавном.
Храни его в палатах, в поле ратном,
И на путях, и на одре ночлега.
Подай ему победу на враги,
Да славится он от моря до моря.
Да здравием цветет его семья,
Да осенят ее драгие ветви
Весь мир земной — а к нам, своим рабам,
Да будет он, как прежде, благодатен,
И милостив и долготерпелив,
Да мудрости его неистощимой
Проистекут источники на нас;
И царскую на то воздвигнув чашу,
Мы молимся тебе, царю небес.

Шуйский
(пьет)

Да здравствует великий государь!
Простите же вы, гости дорогие;
Благодарю, что вы моей хлеб-солью
Не презрели. Простите, добрый сон.

Гости уходят, он провожает их до дверей.

Пушкин

Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить.

Шуйский
(слугам)

Вы что рот разинули? Все бы вам господ подслушивать. Собирайте со стола да ступайте вон. Что такое, Афанасий Михайлович?

Пушкин

Чудеса да и только.
Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне
Из Кракова гонца прислал сегодня.

Шуйский

Ну.

Пушкин

Странную племянник пишет новость.
Сын Грозного... постой.
(Идет к дверям и осматривает.)
Державный отрок,
По манию Бориса убиенный...

Шуйский

Да это уж не ново.

Пушкин

Погоди:
Димитрий жив.

Шуйский

Вот-на! какая весть!
Царевич жив! ну подлинно чудесно.
И только-то?

Пушкин

Послушай до конца.
Кто б ни был он, спасенный ли царевич,
Иль некий дух во образе его,
Иль смелый плут, бесстыдный самозванец,
Но только там Димитрий появился.

Шуйский

Не может быть.

Пушкин

Его сам Пушкин видел,
Как приезжал впервой он во дворец
И сквозь ряды литовских панов прямо
Шел в тайную палату короля.

Шуйский

Кто ж он такой? откуда он?

Пушкин

Не знают.
Известно то, что он слугою был
У Вишневецкого, что на одре болезни
Открылся он духовному отцу,
Что гордый пан, его проведав тайну,
Ходил за ним, поднял его с одра
И с ним потом уехал к Сигизмунду.

Шуйский

Что ж говорят об этом удальце?

Пушкин

Да слышно, он умен, приветлив, ловок,
По нраву всем. Московских беглецов
Обворожил. Латинские попы
С ним заодно. Король его ласкает
И, говорят, помогу обещал.

Шуйский

Все это, брат, такая кутерьма,
Что голова кругом пойдет невольно.
Сомненья нет, что это самозванец,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Весть важная! и если до народа
Она дойдет, то быть грозе великой.

Пушкин

Такой грозе, что вряд царю Борису
Сдержать венец на умной голове.
И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут)
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно,
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?

Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды — где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнанье.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи! мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры.
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить
Работника! — Не то, в Приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Шуйский

Прав ты, Пушкин.
Но знаешь ли? Об этом обо всем
Мы помолчим до времени.

Пушкин

Вестимо,
Знай про себя. Ты человек разумный;
Всегда с тобой беседовать я рад,
И если что меня подчас тревожит,
Не вытерплю, чтоб не сказать тебе.
К тому ж твой мед да бархатное пиво
Сегодня так язык мне развязали...
Прощай же, князь.

Шуйский

Прощай, брат, до свиданья.
(Провожает Пушкина.)

Царевич, чертит географическую карту.
Царевна, мамка царевны.

Ксения
(целует портрет)

Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте — а темной могилке на чужой сторонке. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.

Мамка

И, царевна! девица плачет, что роса падет; взойдет солнце, росу высушит. Будет у тебя другой жених и прекрасный и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича.

Ксения

Нет, мамушка, я и мертвому буду ему верна.

Входит Борис.

Царь

Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!
Все плачешь ты о мертвом женихе.
Дитя мое! судьба мне не судила
Виновником быть вашего блаженства.
Я, может быть, прогневал небеса,
Я счастие твое не мог устроить.
Безвинная, зачем же ты страдаешь?
А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Феодор

Чертеж земли московской; наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
А вот Сибирь.

Царь

А это что такое
Узором здесь вается?

Феодор

Это Волга.

Царь

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Все царство вдруг: границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою.
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.

Входит Семен Годунов.

Вот Годунов идет ко мне с докладом.

(Ксении)

Душа моя, поди в свою светлицу;
Прости, мой друг. Утешь тебя господь.

Ксения с мамкою уходит.

Что скажешь мне, Семен Никитич?

Семен Годунов

Нынче
Ко мне, чем свет, дворецкий князь-Василья
И Пушкина слуга пришли с доносом.

Царь

Ну.

Семен Годунов

Пушкина слуга донес сперва,
Что поутру вчера к ним в дом приехал
Из Кракова гонец — и через час
Без грамоты отослан был обратно.

Царь

Гонца схватить.

Семен Годунов

Уж послано в догоню.

Царь

О Шуйском что?

Семен Годунов

Вечор он угощал
Своих друзей, обоих Милославских,
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,
Да Пушкина — да несколько других;
А разошлись уж поздно. Только Пушкин
Наедине с хозяином остался
И долго с ним беседовал еще.

Царь

Сейчас послать за Шуйским.

Семен Годунов

Государь,
Он здесь уже.

Царь

Позвать его сюда.

Годунов уходит.

Царь

Сношения с Литвою! это что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...

Входит Шуйский.

Мне нужно, князь, с тобою говорить.
Но кажется — ты сам пришел за делом:
И выслушать хочу тебя сперва.

Шуйский

Так, государь: мой долг тебе поведать
Весть важную.

Царь

Я слушаю тебя.

Шуйский
(тихо, указывая на Феодора)

Но, государь...

Царь

Царевич может знать,
Что ведает князь Шуйский. Говори.

Шуйский

Царь, из Литвы пришла нам весть...

Царь

Не та ли,
Что Пушкину привез вечор гонец.

Шуйский

Все знает он! — Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь сей тайны.

Царь

Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истины.

Шуйский

Я знаю только то,
Что в Кракове явился самозванец
И что король и паны за него.

Царь

Что ж говорят? Кто этот самозванец?

Шуйский

Не ведаю.

Царь

Но... чем опасен он?

Шуйский

Конечно, царь: сильна твоя держава,
Ты милостью, раденьем и щедротой
Усыновил сердца своих рабов.
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.

Ей нравится бесстыдная отвага.
Так если сей неведомый бродяга
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.

Царь

Димитрия!.. как? этого младенца!
Димитрия!.. Царевич, удались.

Шуйский

Он покраснел: быть буре!..

Феодор

Государь,
Дозволишь ли...

Царь

Нельзя, мой сын, поди.

Феодор уходит.

Димитрия!..

Шуйский

Он ничего не знал.

Царь

Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.

Шуйский

Иду.

Царь

Постой. Не правда ль, эта весть
Затейлива? Слыхал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты?

Шуйский

Я, государь?..

Царь

Послушай, князь Василий:
Как я узнал, что отрока сего...
Что отрок сей лишился как-то жизни,
Ты послан был на следствие; теперь
Тебя крестом и богом заклинаю,
По совести мне правду объяви:
Узнал ли ты убитого младенца
И не было ль подмена? Отвечай.

Шуйский

Клянусь тебе...

Царь

Нет, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то был царевич?

Шуйский

Он.

Царь

Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнет злая казнь:
Такая казнь, что царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется.

Шуйский

Не казнь страшна; страшна твоя немилость;
Перед тобой дерзну ли я лукавить?
И мог ли я так слепо обмануться,
Что не узнал Димитрия? Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровожденный.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный;

Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.
Нет, государь, сомненья нет: Димитрий
Во гробе спит.

Царь
(спокойно)

Довольно; удались.

Шуйский уходит.

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
Мне кинулась — и тяжко опускалась...
Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
Все снилося убитое дитя!
Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Но кто же он, мой грозный супостат?
Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуй — и нет его.
Так решено: не окажу я страха,—
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

КРАКОВ, ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО

Самозванец и pater Черниковский.

Самозванец

Нет, мой отец, не будет затрудненья;
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.
Ручаюсь я, что прежде двух годов
Весь мой народ, вся северная церковь
Признают власть наместника Петра.

Pater

Вспомоществуй тебе святый Игнатий,
Когда придут иные времена.

А между тем небесной благодати
Таи в душе, царевич, семена.
Притворствовать пред оглашенным светом
Нам иногда духовный долг велит;
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья единый видит бог.

Самозванец

Аминь. Кто там?

Входит слуга.

Сказать: мы принимаем.

Отворяются двери; входит толпа русских и поляков.

Товарищи! мы выступаем завтра
Из Кракова. Я, Мнишек, у тебя
Остановлюсь в Самборе на три дня.
Я знаю: твой гостеприимный замок
И пышностью блистает благородной
И славится хозяйкой молодой.—
Прелестную Марину я надеюсь
Увидеть там. А вы, мои друзья,
Литва и Русь, вы, братские знамена
Поднявшие на общего врага,
На моего коварного злодея,
Сыны славян, я скоро поведу
В желанный бой дружины ваши грозны.—
Но между вас я вижу новы лица.

Гаврила Пушкин

Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы.

Самозванец

Рад вам, дети.
Ко мне, друзья.— Но кто, скажи мне, Пушкин,
Красавец сей?

Пушкин

Князь Курбский.

Самозванец

Имя громко!
(Курбскому.)
Ты родственник казанскому герою?

Курбский

Я сын его.

Самозванец

Он жив еще?

Курбский

Нет, умер.

Самозванец

Великий ум! муж битвы и совета!
Но с той поры, когда являлся он,
Своих обид ожесточенный мститель,
С литовцами под ветхий город Ольгин,
Молва об нем умолкла.

Курбский

Мой отец
В Волынии провел остаток жизни,
В поместиях, дарованных ему
Баторием. Уединен и тих,
В науках он искал себе отрады;
Но мирный труд его не утешал:
Он юности своей отчизну помнил,
И до конца по ней он тосковал.

Самозванец

Несчастный вождь! как ярко просиял
Восход его шумящей, бурной жизни.
Я радуюсь, великородный витязь,
Что кровь его с отечеством мирится.
Вины отцов не должно вспоминать;
Мир гробу их! приближься, Курбский. Руку!
— Не странно ли? сын Курбского ведет
На трон, кого? да — сына Иоанна...
Всё за меня: и люди и судьба.—
Ты кто такой?

Поляк

Собаньский, шляхтич вольный.

Самозванец

Хвала и честь тебе, свободы чадо!
Вперед ему треть жалованья выдать.—
Но эти кто? я узнаю на них
Земли родной одежду. Это наши.

Хрущов
(бьет челом)

Так, государь, отец наш. Мы твои
Усердные, гонимые холопья.
Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш царь — и за тебя готовы
Главами лечь, да будут наши трупы
На царский трон ступенями тебе.

Самозванец

Мужайтеся, безвинные страдальцы —
Лишь дайте мне добраться до Москвы,
А там Борис расплатится во всем.
Ты кто?

Карела

Казак. К тебе я с Дона послан
От вольных войск, от храбрых атаманов,
От казаков верховых и низовых,
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе их головами.

Самозванец

Я знал донцов. Не сомневался видеть
В своих рядах казачьи бунчуки.
Благодарим Донское наше войско.
Мы ведаем, что ныне казаки
Неправедно притеснены, гонимы;
Но если бог поможет нам вступить
На трон отцов, то мы по старине
Пожалуем наш верный вольный Доп.

Поэт
*(приближается, кланяясь низко
и хватая Гришку за полу)*

Великий принц, светлейший королевич!

Самозванец

Что хочешь ты?

Поэт
(подает ему бумагу)

Примите благосклонно
Сей бедный плод усердного труда.

Самозванец

Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!
Приближься, друг. В мое воспоминанье
Прими сей дар.

(Дает ему перстень.)

Когда со мной свершится
Судьбы завет, когда корону предков
Надену я, надеюсь вновь услышать
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн.
Musa gloriam coronat, gloriaque musam [1].
Итак, друзья, до завтра, до свиданья.

Все

В поход, в поход! Да здравствует Димитрий,
Да здравствует великий князь московский!

ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САМБОРЕ

Ряд освещенных комнат. Музыка.
Вишневецкий, Мнишек.

Мнишек

Он говорит с одной моей Мариной,
Мариною одною занят он...
А дело-то на свадьбу страх похоже;
Ну — думал ты, признайся, Вишневецкий,
Что дочь моя царицей будет? а?

Вишневецкий

Да, чудеса... и думал ли ты, Мнишек,
Что мой слуга взойдет на трон московский?

[1] Муза венчает славу, а слава — музу *(лат.)*.

Мнишек

А какова, скажи, моя Марина?
Я только ей промолвил: ну, смотри!
Не упускай Димитрия!.. и вот
Все кончено. Уж он в ее сетях.

Музыка играет польский. Самозванец идет с Мариною в первой паре.

Марина
(тихо Димитрию)

Да, ввечеру, в одиннадцать часов,
В аллее лип, я завтра у фонтана.

Расходятся. Другая пара.

Кавалер

Что в ней нашел Димитрий?

Дама

Как! она
Красавица.

Кавалер

Да, мраморная нимфа:
Глаза, уста без жизни, без улыбки...

Новая пара.

Дама

Он не красив, но вид его приятен
И царская порода в нем видна.

Новая пара.

Дама

Когда ж поход?

Кавалер

Когда велит царевич,
Готовы мы; но, видно, панна Мнишек
С Димитрием задержит нас в плену.

Дама

Приятный плен.

Кавалер

Конечно, если вы...

Расходятся. Комнаты пустеют.

Мнишек

Мы, старики, уж нынче не танцуем,
Музыки гром не призывает нас,
Прелестных рук не жмем и не целуем —
Ох, не забыл старинных я проказ!
Теперь не то, не то, что прежде было:
И молодежь, ей-ей — не так смела,
И красота не так уж весела —
Признайся, друг: все как-то приуныло.
Оставим их; пойдем, товарищ мой,
Венгерского, обросшую травой,
Велим открыть бутылку вековую
Да в уголку потянем-ка вдвоем
Душистый ток, струю, как жир, густую,
А между тем посудим кой о чем.
Пойдем же, брат.

Вишневецкий

И дело, друг, пойдем.

НОЧЬ. САД. ФОНТАН

Самозванец
(входит)

Вот и фонтан; она сюда придет,
Я, кажется, рожден не боязливым;
Перед собой вблизи видал я смерть,
Пред смертию душа не содрогалась.
Мне вечная неволя угрожала,
За мной гнались — я духом не смутился
И дерзостью неволи избежал.
Но что ж теперь теснит мое дыханье?
Что значит сей неодолимый трепет?
Иль это дрожь желаний напряженных?
Нет — это страх. День целый ожидал
Я тайного свидания с Мариной,
Обдумывал все то, что ей скажу,
Как обольщу ее надменный ум,
Как назову московскою царицей,—
Но час настал — и ничего не помню.
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье...

Но что-то вдруг мелькнуло... шорох... тише...
Нет, это свет обманчивой луны,
И прошумел здесь ветерок.

Марина
(входит)

Царевич!

Самозванец

Она!.. Вся кровь во мне остановилась.

Марина

Димитрий! Вы?

Самозванец

Волшебный, сладкий голос!
(Идет к ней.)
Ты ль наконец? Тебя ли вижу я,
Одну со мной, под сенью тихой ночи?
Как медленно катился скучный день!
Как медленно заря вечерня гасла!
Как долго ждал во мраке я ночном!

Марина

Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника. Слова не нужны. Верю,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
С твоей судьбой и бурной и неверной
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Димитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья;
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя,
Но как тебя достойная супруга,
Помощница московского царя.

Самозванец

О, дай забыть хоть на единый час
Моей судьбы заботы и тревоги!

Забудь сама, что видишь пред собой
Царевича. Марина! зри во мне
Любовника, избранного тобою,
Счастливого твоим единым взором.
О, выслушай моления любви,
Дай высказать все то, чем сердце полно.

Марина

Не время, князь. Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клевретов стынет,
Час от часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее,
Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры...

Самозванец

Что Годунов? во власти ли Бориса
Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нет, нет. Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь... что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной — ты,
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь...

Марина

Стыдись; не забывай
Высокого, святого назначенья:
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять.
Не юноше кипящему, безумно
Плененному моею красотой,
Знай: отдаю торжественно я руку
Наследнику московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой.

Самозванец

Не мучь меня, прелестная Марина,
Не говори, что сан, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Как больно тем ты сердце мне язвишь —
Как! ежели... о страшное сомненье! —

Скажи: когда б не царское рожденье
Назначила слепая мне судьба;
Когда б я был не Иоаннов сын,
Не сей давно забытый миром отрок,—
Тогда б... тогда б любила ль ты меня?..

Марина

Димитрий ты и быть иным не можешь;
Другого мне любить нельзя.

Самозванец

Нет! полно:
Я не хочу делиться с мертвецом
Любовницей, ему принадлежащей.
Нет, полно мне притворствовать! скажу
Всю истину; так знай же: твой Димитрий
Давно погиб, зарыт — и не воскреснет;
А хочешь ли ты знать, кто я таков?
Изволь, скажу: я бедный черноризец;
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком, свой замысел отважный
Обдумал я, готовил миру чудо —
И наконец из келии бежал
К украинцам, в их буйные курени,
Владеть конем и саблей научился;
Явился к вам; Димитрием назвался
И поляков безмозглых обманул.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признанием моим?
Что ж ты молчишь?

Марина

О стыд! о горе мне!

(Молчание.)

Самозванец

(тихо)

Куда завлек меня порыв досады!
С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил.
Что сделал я, безумец? —

(Вслух.)

Вижу, вижу:
Стыдишься ты не княжеской любви.

Так вымолви ж мне роковое слово;
В твоих руках теперь моя судьба,
Реши: я жду
(бросается на колени).

Марина

Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,
Как девочки доверчивой и слабой
Тщеславное мне сердце умилить?
Ошибся, друг: у ног своих видала
Я рыцарей и графов благородных;
Но их мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтоб беглого монаха...

Самозванец
(встает)

Не презирай младого самозванца;
В нем доблести таятся, может быть,
Достойные московского престола,
Достойные руки твоей бесценной...

Марина

Достойные позорной петли, дерзкий!

Самозванец

Виновен я; гордыней обуянный,
Обманывал я бога и царей,
Я миру лгал; но не тебе, Марина,
Меня казнить; я прав перед тобою.
Нет, я не мог обманывать тебя.
Ты мне была единственной святыней,
Пред ней же я притворствовать не смел.
Любовь, любовь ревнивая, слепая,
Одна любовь принудила меня
Все высказать.

Марина

Чем хвалится, безумец!
Кто требовал признанья твоего?
Уж если ты, бродяга безымянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен уж по крайней мере ты
Достоин быть успеха своего

И свой обман отважный обеспечить
Упорною, глубокой, вечной тайной.
Могу ль, скажи, предаться я тебе,
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий,
Соединить судьбу мою с твоею,
Когда ты сам с такою простотой,
Так ветрено позор свой обличаешь?
Он из любви со мною проболтался!
Дивлюся: как перед моим отцом
Из дружбы ты доселе не открылся,
От радости пред нашим королем
Или еще пред паном Вишневецким
Из верного усердия слуги.

Самозванец

Клянусь тебе, что сердца моего
Ты вымучить одна могла признанье.
Клянусь тебе, что никогда, нигде,
Ни в пиршестве за чашею безумства,
Ни в дружеском, заветном разговоре,
Ни под ножом, ни в муках истязаний
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык.

Марина

Клянешься ты! итак, должна я верить —
О, верю я! — но чем, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? не именем ли бога,
Как набожный приимыш езуитов?
Иль честию, как витязь благородный,
Иль, может быть, единым царским словом,
Как царский сын? не так ли? говори.

Димитрий
(гордо)

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.—
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат.

О как тебя я стану ненавидеть,
Когда пройдет постыдной страсти жар!
Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает,
Найду ли смерть, как воин в битве честной,
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

Марина

А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?

Самозванец

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу? — Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно, и тебя,
Мятежница! поверь, молчать заставят.
Прощай.

Марина

Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
Безумный твой порыв я забываю
И вижу вновь Димитрия. Но — слушай:
Пора, пора! проснись, не медли боле;
Веди полки скорее на Москву —
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла;
Но — слышит бог — пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я.
(Уходит.)

Самозванец

Нет — легче мне сражаться с Годуновым
Или хитрить с придворным езуитом,
Чем с женщиной — черт с ними; мочи нет.
И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея! змея! — Недаром я дрожал.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но решено: заутра двину рать.

ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ

(1604 года, 16 октября)

Князь Курбский и Самозванец, оба верхами. Полки приближаются к границе.

Курбский
(прискакав первый)

Вот, вот она! вот русская граница!
Святая Русь, Отечество! Я твой!
Чужбины прах с презреньем отряхаю
С моих одежд — пью жадно воздух новый:
Он мне родной... теперь твоя душа,
О мой отец, утешится, и в гробе
Опальные возрадуются кости!
Блеснул опять наследственный наш меч,
Сей славный меч, гроза Казани темной.
Сей добрый меч, слуга царей московских!
В своем пиру теперь он загуляет
За своего надёжу-государя!..

Самозванец
(едет тихо с поникшей головой)

Как счастлив он! как чистая душа
В нем радостью и славой разыгралась!
О витязь мой! завидую тебе.
Сын Курбского, воспитанный в изгнанье,
Забыв отцом снесенные обиды,
Его вину за гробом искупив,
Ты кровь излить за сына Иоанна
Готовишься; законного царя
Ты возвратить отечеству... ты прав,
Душа твоя должна пылать весельем.

Курбский

Ужель и ты не веселишься духом?
Вот паша Русь: она твоя, царевич.
Там ждут тебя сердца твоих людей:
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.

Самозванец

Кровь русская, о Курбский, потечет!
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца! —
Вперед!

Курбский

Вперед! и горе Годунову!

Скачут. Полкп переходят через границу.

ЦАРСКАЯ ДУМА

Царь, патриарх и бояре.

Царь

Возможно ли? Расстрига, беглый инок
На нас ведет злодейские дружины,
Дерзает нам писать угрозы! Полно,
Пора смирить безумца! — Поезжайте
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь
Нужна моим усердным воеводам.
Бунтовщиком Чернигов осажден.
Спасайте град и граждан.

Басманов

Государь,
Трех месяцев отныне не пройдет,
И замолчит и слух о самозванце;
Его в Москву мы привезем, как зверя
Заморского, в железной клетке. Богом
Тебе клянусь.

(Уходит с Трубецким.)

Царь

Мне свейский государь
Через послов союз свой предложил;

Но не нужна нам чуждая помога;
Своих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменников и ляха.
Я отказал.
Щелкалов! разослать
Во все концы указы к воеводам,
Чтоб на коня садились и людей
По старине на службу высылали;
В монастырях подобно отобрать
Служителей причетных. В прежни годы,
Когда бедой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли.
Но не хотим тревожить ныне их;
Пусть молятся за нас они — таков
Указ царя и приговор боярский.
Теперь вопрос мы важный разрешим:
Вы знаете, что наглый самозванец
Коварные промчал повсюду слухи;
Повсюду им разосланные письма
Посеяли тревогу и сомненье;
На площадях мятежный бродит шепот,
Умы кипят... их нужно остудить;
Предупредить желал бы казни я,
Но чем и как? решим теперь. Ты первый,
Святый отец, свою поведай мысль.

Патриарх

Благословен всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь;
Ты грешнику погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь — да прóйдет заблужденье:
Оно пройдет, и солнце правды вечной
Всех озарит.
Твой верный богомолец,
В делах мирских не мудрый судия,
Дерзает днесь подать тебе свой голос.
Бесовский сын, расстрига окаянный,
Прослыть умел Димитрием в народе;
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится.

Сам бог на то нам средство посылает:
Знай, государь, тому прошло шесть лет —
В тот самый год, когда тебя господь
Благословил на царскую державу,—
В вечерний час ко мне пришел однажды
Простой пастух, уже маститый старец,
И чудную поведал он мне тайну.
«В младых летах,— сказал он,— я ослеп
И с той поры не знал ни дня, ни ночи
До старости: напрасно я лечился
И зелием и тайным нашептаньем;
Напрасно я ходил на поклоненье
В обители к великим чудотворцам;
Напрасно я из кладязей святых
Кропил водой целебной темны очи;
Не посылал господь мне исцеленья.
Вот наконец утратил я надежду
И к тьме своей привык, и даже сны
Мне виданных вещей уж не являли,
А снилися мне только звуки. Раз,
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: — Встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;
Там помолись ты над моей могилкой,
Бог милостив — и я тебя прощу.
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь небесный
Приял меня в лик ангелов своих,
И я теперь великий чудотворец!
Иди, старик.— Проснулся я и думал:
Что ж? может быть, и в самом деле бог
Мне позднее дарует исцеленье.
Пойду — и в путь отправился далекий.
Вот Углича достиг я, прихожу
В святый собор, и слушаю обедню
И, разгорясь душой усердной, плачу
Так сладостно, как будто слепота
Из глаз моих слезами вытекала.
Когда народ стал выходить, я внуку
Сказал: — Иван, веди меня на гроб
Царевича Димитрия.— И мальчик
Повел меня — и только перед гробом
Я тихую молитву сотворил,

Глаза мои прозрели; я увидел
И божий свет, и внука, и могилку».
Вот, государь, что мне поведал старец.

Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком.

Я посылал тогда нарочно в Углич,
И сведано, что многие страдальцы
Спасение подобно обретали
У гробовой царевича доски.
Вот мой совет: во Кремль святые мощи
Перенести, поставить их в соборе
Архангельском; народ увидит ясно
Тогда обман безбожного злодея,
И мощь бесов исчезнет яко прах.

Молчание.

Князь Шуйский

Святый отец, кто ведает пути
Всевышнего? Не мне его судить.
Нетленный сон и силу чудотворства
Он может дать младенческим останкам,
Но надлежит народную молву
Исследовать прилежно и бесстрастно;
А в бурные ль смятений времена
Нам помышлять о столь великом деле?
Не скажут ли, что мы святыню дерзко
В делах мирских орудием творим?
Народ и так колеблется безумно,
И так уж есть довольно шумных толков:
Умы людей не время волновать
Нежданною, столь важной новизною.
Сам вижу я: необходимо слух,
Рассеянный расстригой, уничтожить;
Но есть на то иные средства — проще.
Так, государь,— когда изволишь ты,
Я сам явлюсь на площади народной,
Уговорю, усовещу безумство
И злой обман бродяги обнаружу.

Царь

Да будет так! Владыко патриарх,
Прошу тебя пожаловать в палату:
Сегодня мне нужна твоя беседа.

Уходит. За ним и все бояре.

Один боярин
(тихо другому)

Заметил ты, как государь бледпел
И крупный пот с лица его закапал?

Другой

Я — признаюсь — не смел поднять очей,
Не смел вздохнуть, не только шевельнуться.

Первый боярин

А выручил князь Шуйский. Молодец!

РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО

(1604 года, 21 декабря)

Битва.

Воины
(бегут в беспорядке)

Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! вот они!

Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен.

Маржерет

Куда, куда? Allons... [1] пошоль назад!

Один из беглецов

Сам *пошоль,* коли есть охота, проклятый басурман.

Маржерет

Quoi? quoi? [2]

Другой

Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича; а мы ведь православные.

Маржерет

Qu'est-ce à dire *pravoslavni?..* Sacrés gueux, maudites canailles? Mordieu, mein herr, j'enrage: on dirait que ça n'a pas des bras pour frapper, ça n'a que des jambes pour foutre le camp [3].

[1] Ну... *(франц.)*
[2] Что? что? *(франц.)*
[3] Что значит *православные?..* Рвань окаянная, проклятая сволочь! Черт возьми, мейн герр (сударь), я прямо взбешен: можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать *(франц.).*

В. Розен

Es ist Schande [1].

Маржерет

Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus d'un pas — puisque le vin est tiré, il faut le boire. Qu'en dites-vous, mein herr? [2]

В. Розен

Sie haben Recht [3].

Маржерет

Tudieu, il y fait chaud! Ce diable de Samozvanetz, comme ils l'appellent, est un bougre qui a du poil au cul. Qu'en pensez vous, mein herr? [4]

В. Розен

Oh, ja! [5]

Маржерет

Hé! voyez donc, voyez donc! L'action s'engage sur les derrières de l'ennemi. Ce doit être le brave Basmanoff, qui aurait fait une sortie [6].

В. Розен

Ich glaube das [7].

Входят немцы.

Маржерет

Ha, ha! voici nos Allemands.— Messieurs!.. Mein Herr, dites leur donc de se rallier et, sacrebleu, chargeons! [8]

В. Розен

Sehr gut. Halt! [9]

Немцы строятся.

Marsch! [10]

---

[1] Позор *(нем.)*.

[2] Тысяча дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг — раз дело начато, надо его кончить. Что вы скажете на это, мейн герр? *(франц.)*

[3] Вы правы *(нем.)*.

[4] Черт, дело становится жарким! Этот дьявол Самозванец, как они его называют, отчаянный головорез. Как вы полагаете, мейн герр? *(франц.)*

[5] О да! *(нем.)*

[6] Вот глядите, глядите! Завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверно, ударил молодец Басманов *(франц.)*.

[7] Я так полагаю *(нем.)*.

[8] А вот и наши немцы.— Господа!.. Мейн герр, велите же им построиться, и, черт возьми, пойдем в атаку! *(франц.)*

[9] Очень хорошо. Становись! *(нем.)*

[10] Марш! *(нем.)*

Немцы
(идут)

Hilf Gott! [1]

Сражение. Русские снова бегут.

Ляхи

Победа! победа! Слава царю Димитрию.

Димитрий
(верхом)

Ударить отбой! мы победили. Довольно: щадите русскую кровь. Отбой!

Трубят, бьют барабаны.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ

Народ.

Один

Скоро ли царь выйдет из собора?

Другой

Обедня кончилась; теперь идет молебствие.

Первый

Что? уж проклинали *того?*

Другой

Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил: Гришка Отрепьев — анафема!

Первый

Пускай себе проклинают; царевичу дела нет до Отрепьева.

Другой

А царевичу поют теперь вечную память.

Первый

Вечную память живому! Вот ужо им будет, безбожникам.

---

[1] С нами бог! *(нем.)*

Третий

Чу! шум. Не царь ли?

Четвертый

Нет; это юродивый.

Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками.

Мальчишки

Николка, Николка — железный колпак!.. тр р р р р...

Старуха

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного.— Помолись, Николка, за меня грешную.

Юродивый

Дай, дай, дай копеечку.

Старуха

Вот тебе копеечка; помяни же меня.

Юродивый
(садится на землю и поет)

Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!

Мальчишки окружают его снова.

Один из них

Здравствуй, Николка; что же ты шапки не снимаешь? *(Щелкает его по железной шапке.)* Эк она звонит!

Юродивый

А у меня копеечка есть.

Мальчишка

Неправда! ну покажи.
(Вырывает копеечку и убегает.)

Юродивый
(плачет)

Взяли мою копеечку; обижают Николку!

Народ

Царь, царь идет.

Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре.

Юродивый

Борис, Борис! Николку дети обижают.

Царь

Подать ему милостыню. О чем он плачет?

Юродивый

Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.

Бояре

Поди прочь, дурак! схватите дурака!

Царь

Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.
(Уходит.)

Юродивый
(ему вслед)

Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит.

СЕВСК

Самозванец, окруженный своими.

Самозванец

Где пленный?

Лях

Здесь.

Самозванец

Позвать его ко мне.

Входит русский пленник.

Кто ты?

Пленник

Рожнов, московский дворянин.

Самозванец

Давно ли ты на службе?

Пленник

С месяц будет.

Самозванец

Не совестно, Рожнов, что на меня
Ты поднял меч?

Пленник

Как быть, не наша воля.

Самозванец

Сражался ты под Северским?

Пленник

Я прибыл
Недели две по битве — из Москвы.

Самозванец

Что Годунов?

Пленник

Он очень был встревожен
Потерею сражения и раной
Мстиславского, и Шуйского послал
Начальствовать над войском.

Самозванец

А зачем
Он отозвал Басманова в Москву?

Пленник

Царь наградил его заслуги честью
И золотом. Басманов в царской Думе
Теперь сидит.

Самозванец

Он в войске был нужнее.
Ну что в Москве?

Пленник

Все, слава богу, тихо.

Самозванец

Что? ждут меня?

Пленник

Бог знает; о тебе
Там говорить не слишком нынче смеют.
Кому язык отрежут, а кому
И голову — такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся,— глядь — лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам.
Как раз беда; так лучше уж молчать.

Самозванец

Завидна жизнь Борисовых людей!
Ну, войско что?

Пленник

Что с ним? одето, сыто,
Довольно всем.

Самозванец

Да много ли его?

Пленник

Бог ведает.

Самозванец

А будет тысяч тридцать?

Пленник

Да наберешь и тысяч пятьдесят.

Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга.

Самозванец

Ну! обо мне как судят в вашем стане?

Пленник

А говорят о милости твоей,
Что ты, дескать (будь не во гнев), и вор,
А молодец.

Самозванец
(смеясь)

Так это я на деле
Им докажу: друзья, не станем ждать
Мы Шуйского; я поздравляю вас:
Назавтра бой.
(Уходит.)

Все

Да здравствует Димитрий!

Лях

Назавтра бой! их тысяч пятьдесят,
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч.
С ума сошел.

Другой

Пустое, друг: поляк
Один пятьсот москалей вызвать может.

Пленник

Да, вызовешь. А как дойдет до драки,
Так убежишь от одного, хвастун.

Лях

Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник,
То я тебя
(указывая на свою саблю)
вот этим бы смирил.

Пленник

Наш брат русак без сабли обойдется:
Не хочешь ли вот этого,
(показывая кулак)
безмозглый!

Лях гордо смотрит на него и молча отходит.
Все смеются.

ЛЕС

Лжедимитрий, Пушкин.
В отдалении лежит конь издыхающий.

Лжедимитрий

Мой бедный конь! как бодро поскакал
Сегодня он в последнее сраженье
И, раненный, как быстро нес меня.
Мой бедный конь!

Пушкин
(про себя)

Ну вот о чем жалеет!
Об лошади! когда все наше войско
Побито в прах!

Самозванец

Послушай, может быть,
От раны он лишь только заморился
И отдохнет.

Пушкин

Куда! он издыхает.

Самозванец
(идет к своему коню)

Мой бедный конь!.. что делать? снять узду
Да отстегнуть подпругу. Пусть на воле
Издохнет он.
(Разуздывает и расседлывает коня.)

Входят несколько ляхов.

Здорово, господа!
Что ж Курбского не вижу между вами?
Я видел, как сегодня в гущу боя
Он врезался; тьмы сабель молодца,
Что зыбкие колосья, облепили;
Но меч его всех выше подымался,
А грозный клик все клики заглушал.
Где ж витязь мой?

Лях

Он лег на поле смерти.

Самозванец

Честь храброму и мир его душе!
Как мало нас от битвы уцелело.

Изменники! злодеи-запорожцы,
Проклятые! вы, вы сгубили нас —
Не выдержать и трех минут отпора!
Я их ужо! десятого повешу,
Разбойники!

Пушкин

Кто там ни виноват,
Но все-таки мы начисто разбиты,
Истреблены.

Самозванец

А дело было наше;
Я было смял передовую рать —
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей-богу, молодцы,
Люблю за то — из них уж непременно
Составлю я почетную дружину.

Пушкин

А где-то нам сегодня ночевать?

Самозванец

Да здесь в лесу. Чем это не ночлег?
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске.
Спокойна ночь.
(Ложится, кладет седло под голову и засыпает.)

Пушкин

Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасаясь побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.

МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ

Борис, Басманов.

Царь

Он побежден, какая польза в том?
Мы тщетною победой увенчались.
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает.

Что делают меж тем герои наши?
Стоят у Кром, где кучка казаков
Смеются им из-под гнилой ограды.
Вот слава! нет, я ими недоволен,
Пошлю тебя начальствовать над ними;
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Басманов

Ах, государь, стократ благословен
Тот будет день, когда Разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрет огонь.

Царь

День этот недалек;
Лишь дай сперва смятение народа
Мне усмирить.

Басманов

Что на него смотреть;
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды;
На власть отца так отрок негодует;
Но что ж? конем спокойно всадник правит,
И отроком отец повелевает.

Царь

Конь иногда сбивает седока,
Сын у отца не вечно в полной воле.
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Входит боярин.

Что?

Боярин

Привели гостей иноплеменных.

Царь

Иду принять; Басманов, погоди.
Останься здесь: с тобой еще мне нужно
Поговорить.

(Уходит.)

Басманов

Высокий дух державный.
Дай бог ему с Отрепьевым проклятым
Управиться, и много, много он
Еще добра в России сотворит.
Мысль важная в уме его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому!
Соперников во брани я не знаю;
У царского престола стану первый...
И может быть... Но что за чудный шум?

Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся.

Один

За лекарем!

Другой

Скорее к патриарху.

Третий

Царевича, царевича зовет!

Четвертый

Духовника!

Басманов

Что сделалось такое?

Пятый

Царь занемог.

Шестой

Царь умирает.

Басманов

Боже!

Пятый

На троне он сидел и вдруг упал,—
Кровь хлынула из уст и из ушей.

Царя выносят на стуле; все царское семейство, все бояре.

Царь

Подите все — оставьте одного
Царевича со мною.

Все удаляются.

Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын: сейчас
Ты царствовать начнешь... о боже, боже!
Сейчас явлюсь перед тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья... так и быть!
Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало;
Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай. Довольно: ты невинен,
Ты царствовать теперь по праву станешь.
Я, я за все один отвечу богу...
О милый сын, не обольщайся ложно,
Не ослепляй себя ты добровольно —
В дни бурные державу ты приемлешь:
Опасен он, сей чудный самозванец,
Он именем ужасным ополчен...
Я, с давних лет в правленье искушенный,
Мог удержать смятенье и мятеж;
Передо мной они дрожали в страхе;
Возвысить глас измена не дерзала.
Но ты, младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, опутывать измену?
Но бог велик! Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу... слушай:
Советника, во-первых, избери
Надежного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом — а в боярах
Почтенного породой или славой —
Хоть Шуйского. Для войска нынче нужен
Искусный вождь: Басманова пошли
И с твердостью снеси боярский ропот.

Ты с малых лет сидел со мною в Думе,
Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...
Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Со строгостью храни устав церковный;
Будь молчалив; не должен царский голос
На воздухе теряться по-пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
О милый сын, ты входишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.
В семье своей будь завсегда главою;
Мать почитай, но властвуй сам собою.
Ты муж и царь; люби свою сестру,
Ты ей один хранитель остаешься.

Феодор
(на коленях)

Нет, нет — живи и царствуй долговечно:
Народ и мы погибли без тебя.

Царь

Все кончено — глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад...

Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки, царевна рыдает.

Кто там?
А! схима... так! святое постриженье...

Ударил час, в монахи царь идет —
И темный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще: внемлите вы, бояре:
Се тот, кому приказываю царство;
Целуйте крест Феодору... Басманов,
Друзья мои... при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой!
Он так еще и млад и непорочен...
Клянетесь ли?

Бояре

Клянемся.

Царь

Я доволен.
Простите ж мне соблазны и грехи
И вольные и тайные обиды...
Святый отец, приближься, я готов.

Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят.

СТАВКА

Басманов вводит Пушкина.

Басманов

Войди сюда и говори свободно.
Итак, тебя ко мне он посылает?

Пушкин

Тебе свою он дружбу предлагает
И первый сан по нем в московском царстве.

Басманов

Но я и так Феодором высоко
Уж вознесен. Начальствую над войском,
Он для меня презрел и чин разрядный,
И гнев бояр — я присягал ему.

Пушкин

Ты присягал наследнику престола
Законному; но если жив другой,
Законнейший?..

Басманов

Послушай, Пушкин, полно,
Пустого мне не говори; я знаю,
Кто он такой.

Пушкин

Россия и Литва

Димитрием давно его признали,
Но впрочем, я за это не стою.
Быть может, он Димитрий настоящий,
Быть может, он и самозванец. Только
Я ведаю, что рано или поздно
Ему Москву уступит сын Борисов.

Басманов

Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, слава богу!
Победою я их одушевлю,
А вы, кого против меня пошлете?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас, всего-то восемь тысяч.

Пушкин

Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только селы грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские... да что и говорить...
Перед тобой не стану я лукавить;
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
Ты видел сам, охотно ль ваши рати
Сражались с ним; когда же? при Борисе!
А нынче ль?.. Нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани:
Со всем твоим умом и твердой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе

Дать первому пример благоразумный,
Димитрия царем провозгласить
И тем ему навеки удружить?
Как думаешь?

Басманов

Узнаете вы завтра.

Пушкин

Решись.

Басманов

Прощай.

Пушкин

Подумай же, Басманов.
(Уходит.)

Басманов

Он прав, он прав; везде измена зреет —
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтоб и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль
Предупредить разрыв потока бурный
И самому... Но изменить присяге!
Но заслужить бесчестье в род и род!
Доверенность младого венценосца
Предательством ужасным заплатить...
Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговор,
Но мне ли, мне ль, любимцу государя...
Но смерть... но власть... но бедствия народны...
(Задумывается.)
Сюда! кто там?
(Свищет.)
Коня! Трубите сбор.

ЛОБНОЕ МЕСТО

Пушкин идет, окруженный народом.

Народ

Царевич нам боярина послал.
Послушаем, что скажет нам боярин.
Сюда, сюда!

Пушкин
(на амвоне)

Московские граждане,
Вам кланяться царевич приказал.
(Кланяется.)
Вы знаете, как промысел небесный
Царевича от рук убийцы спас;
Он шел казнить злодея своего,
Но божий суд уж поразил Бориса.
Димитрию Россия покорилась;
Басманов сам с раскаяньем усердным
Свои полки привел ему к присяге.
Димитрий к вам идет с любовью, с миром.
В угоду ли семейству Годуновых
Подымете вы руку на царя
Законного, на внука Мономаха?

Народ

Вестимо, нет.

Пушкин

Московские граждане!
Мир ведает, сколь много вы терпели
Под властию жестокого пришельца:
Опалу, казнь, бесчестие, налоги,
И труд, и глад — всё испытали вы.
Димитрий же вас жаловать намерен,
Бояр, дворян, людей приказных, ратных,
Гостей, купцов — и весь честной народ.
Вы ль станете упрямиться безумно
И милостей кичливо убегать?
Но он идет на царственный престол
Своих отцов — в сопровожденье грозном.
Не гневайте ж царя и бойтесь бога.
Целуйте крест законному владыке;
Смиритеся, немедленно пошлите
К Димитрию во стан митрополита,
Бояр, дьяков и выборных людей,
Да бьют челом отцу и государю.
(Сходит.)

Шум народный.

Народ

Что толковать? Боярин правду молвил.
Да здравствует Димитрий, наш отец!

Мужик на амвоне

Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!

Народ
(несется толпою)

Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий!
Да гибнет род Бориса Годунова!

КРЕМЛЬ. ДОМ БОРИСОВ.
СТРАЖА У КРЫЛЬЦА

Феодор под окном.

Нищий

Дайте милостыню, Христа ради!

Стража

Поди прочь, не велено говорить с заключенными.

Феодор

Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле.

Ксения под покрывалом подходит также к окну.

Один из народа

Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клетке.

Другой

Есть о ком жалеть? Проклятое племя!

Первый

Отец был злодей, а детки невинны.

Другой

Яблоко от яблони недалеко падает.

Ксения

Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.

Феодор

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы.

Ксения

Ах, братец, сердце замирает.

Голицын, Мосальский, Молчанов и Шерефединов. За ними трое стрельцов.

Народ

Расступитесь, расступитесь. Бояре идут.

Они входят в дом.

Один из народа

Зачем они пришли?

Другой

А верно, приводить к присяге Феодора Годунова.

Третий

В самом деле? — слышишь, какой в доме шум! Тревога, дерутся...

Народ

Слышишь? визг! — это женский голос — взойдем! — Двери заперты — крики замолкли.

Отворяются двери. Мосальский является на крыльце.

Мосальский

Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.

Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует.

Конец

1825

БЕРЕГ МОРЯ.
ФАУСТ И МЕФИСТОФЕЛЬ.

Фауст

Мне скучно, бес.

Мефистофель

Что делать, Фауст?
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

Фауст

Сухая шутка!
Найди мне способ как-нибудь
Рассеяться.

Мефистофель

Доволен будь
Ты доказательством рассудка.
В своем альбоме запиши:
Fastidium est quies — скука
Отдохновение души.
Я психолог... о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?

Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Виргилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл вечернего похмелья?
Тогда ль, как погрузился ты
В великодушные мечты,
В пучину темную науки?
Но — помнится — тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался,
Возил и к ведьмам и к духам,
И что же? всё по пустякам.
Желал ты славы — и добился,
Хотел влюбиться — и влюбился,
Ты с жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив?

Фауст

Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет —
Я проклял знаний ложный свет,
А слава... луч ее случайный
Неуловим. Мирская честь
Бессмысленна, как сон... Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двух душ...

Мефистофель

И первое свиданье,
Не правда ль? Но нельзя ль узнать,
Кого изволишь поминать,
Не Гретхен ли?

Фауст

О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи —

Там, на груди ее прелестной
Покоя томную главу,
Я счастлив был...

Мефистофель

Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем
Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
Я забавлялся одинокой,
Как вы вдвоем — все помню я.
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье — скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Что́ думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?

Фауст

Говори. Ну, что?

Мефистофель

Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,

Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из этого всего
Одно ты вывел заключенье...

Фауст

Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!

Мефистофель

Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.

Фауст

Что там белеет? говори.

Мефистофель

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Фауст

Все утопить.

Мефистофель

Сейчас.
(Исчезает.)

1825

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

(СЦЕНЫ ИЗ ЧЕНСТОНОВОЙ ТРАГИКОМЕДИИ: THE COVETOUS KNIGHT [1])

СЦЕНА I

В башне.

Альбер и Иван.

Альбер

Во что бы то ни стало на турнире
Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

Иван подает ему шлем.

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть. Достать мне надо новый.
Какой удар! проклятый граф Делорж!

Иван

И вы ему порядком отплатили:
Как из стремян вы вышибли его,
Он сутки замертво лежал — и вряд ли
Оправился.

Альбер

А все ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,
А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.
Зачем с него не снял я шлема тут же!
А снял бы я, когда б не было стыдно
Мне дам и герцога. Проклятый граф!

[1] Скупой рыцарь *(англ.)*.

Он лучше бы мне голову пробил.
И платье нужно мне. В последний раз
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате; я в латах был один
За герцогским столом. Отговорился
Я тем, что на турнир попал случайно.
А нынче что скажу? О бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!
Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал,
А я с открытой головой пришпорил
Эмира моего, помчался вихрем
И бросил графа на́ двадцать шагов,
Как маленького пажа; как все дамы
Привстали с мест, когда сама Клотильда,
Закрыв лицо, невольно закричала,
И славили герольды мой удар,—
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлем,
Геройству что виною было? — скупость.
Да! заразиться здесь не трудно ею
Под кровлею одной с моим отцом.
Что бедный мой Эмир?

Иван

Он все хромает.
Вам выехать на нем еще нельзя.

Альбер

Ну, делать нечего: куплю Гнедого.
Недорого и просят за него.

Иван

Недорого, да денег нет у нас.

Альбер

Что ж говорит бездельник Соломон?

Иван

Он говорит, что более не может
Взаймы давать вам денег без заклада.

Альбер

Заклад! а где мне взять заклада, дьявол!

Иван

Я сказывал.

Альбер

Что ж он?

Иван

Кряхтит да жмется.

Альбер

Да ты б ему сказал, что мой отец
Богат и сам, как жид, что рано ль, поздно ль
Всему наследую.

Иван

Я говорил.

Альбер

Что ж?

Иван

Жмется да кряхтит.

Альбер

Какое горе!

Иван

Он сам хотел прийти.

Альбер

Ну, слава богу.
Без выкупа не выпущу его.

Стучат в дверь.

Кто там?

Входит жид.

Жид

Слуга ваш низкий.

Альбер

А, приятель!
Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,
Не веришь в долг.

Жид

Ах, милостивый рыцарь,
Клянусь вам: рад бы... право не могу.
Где денег взять? весь разорился я,
Всё рыцарям усердно помогая.
Никто не платит. Вас хотел просить,
Не можете ль хоть часть отдать...

Альбер

Разбойник!
Да если б у меня водились деньги,
С тобою стал ли б я возиться? Полно,
Не будь упрям, мой милый Соломон;
Давай червонцы. Высыпи мне сотню,
Пока тебя не обыскали.

Жид

Сотню!
Когда б имел я сто червонцев!

Альбер

Слушай:
Не стыдно ли тебе своих друзей
Не выручать?

Жид

Клянусь вам...

Альбер

Полно, полно.
Ты требуешь заклада? что за вздор!
Что дам тебе в заклад? свиную кожу?
Когда б я мог что заложить, давно
Уж продал бы. Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?

Жид

Ваше слово,
Пока вы живы, много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (боже сохрани), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.

Альбер

Ужель отец меня переживет?

Жид

Как знать? дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вечор, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.
Барон здоров. Бог даст — лет десять, двадцать
И двадцать пять и тридцать проживет он.

Альбер

Ты врешь, еврей: да через тридцать лет
Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги
На что мне пригодятся?

Жид

Деньги? — деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их как зеницу ока.

Альбер

О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, все бегает да лает.

А золото спокойно в сундуках
Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет.

Жид

Да, на бароновых похоронах
Прольется больше денег, нежель слез.
Пошли вам бог скорей наследство.

Альбер

Amen! [1]

Жид

А можно б...

Альбер

Что?

Жид

Так, думал я, что средство
Такое есть...

Альбер

Какое средство?

Жид

Так —
Есть у меня знакомый старичок,
Еврей, аптекарь бедный...

Альбер

Ростовщик
Такой же, как и ты, иль почестнее?

Жид

Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной —
Он составляет капли... право, чудно,
Как действуют они.

Альбер

А что мне в них?

[1] Аминь! *(лат.)*

Жид

В стакан воды подлить... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

Альбер

Твой старичок торгует ядом.

Жид

Да —
И ядом.

Альбер

Что ж? взаймы на место денег
Ты мне предложишь склянок двести яду,
За склянку по червонцу. Так ли, что ли?

Жид

Смеяться вам угодно надо мною —
Нет; я хотел... быть может, вы... я думал,
Что уж барону время умереть.

Альбер

Как! отравить отца! и смел ты сыну...
Иван! держи его. И смел ты мне!..
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змей! что я тебя сейчас же
На воротах повешу.

Жид

Виноват!
Простите: я шутил.

Альбер

Иван, веревку.

Жид

Я... я шутил. Я деньги вам принес.

Альбер

Вон, пес!

Жид уходит.

Вот до чего меня доводит
Отца родного скупость! Жид мне смел
Что предложить! Дай мне стакан вина,

Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам. Да не вводи сюда
Иуду этого... Иль нет, постой,
Его червонцы будут пахнуть ядом,
Как сребреники пращура его...
Я спрашивал вина.

Иван

У нас вина —
Ни капли нет.

Альбер

А то, что мне прислал
В подарок из Испании Ремон?

Иван

Вечор я снес последнюю бутылку
Больному кузнецу.

Альбер

Да, помню, знаю...
Так дай воды. Проклятое житье!
Нет, решено — пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

СЦЕНА II

Подвал.

Барон

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу

Сокровища растут. Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья...

(Смотрит на свое золото.)

Кажется, не много,
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!
Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя.
Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,
Притворщица не трогалась; я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме.
А этот? этот мне принес Тибо —
Где было взять ему, ленивцу, плуту?

Украл, конечно; или, может быть,
Там на большой дороге, ночью, в роще...
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных. Но пора.
(Хочет отпереть сундук.)
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
(Отпирает сундук.)
Вот мое блаженство!
(Всыпает деньги.)
Ступайте, полно вам по свету рыскать,
Служа страстям и нуждам человека.
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах...
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды.
(Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим.)
Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Я царствую... но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украв ключи у трупа моего,

Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит —
Он расточит... А по какому праву?
Мне разве даром это все досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костьми да груды загребает?
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило? Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..
Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел.
О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

СЦЕНА III

Во дворце.
Альбер, герцог.

Альбер

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б жалобы моей не услыхали.

Герцог

Я верю, верю: благородный рыцарь,
Таков, как вы, отца не обвинит
Без крайности. Таких развратных мало...

Спокойны будьте: вашего отца
Усовещу наедине, без шуму.
Я жду его. Давно мы не видались.
Он был друг деду моему. Я помню,
Когда я был еще ребенком, он
Меня сажал на своего коня
И покрывал своим тяжелым шлемом,
Как будто колоколом.
(Смотрит в окно.)
Это кто?
Не он ли?

Альбер

Так, он, государь.

Герцог

Подите ж
В ту комнату. Я кликну вас.

Альбер уходит; входит барон.

Барон,
Я рад вас видеть бодрым и здоровым.

Барон

Я счастлив, государь, что в силах был
По приказанью вашему явиться.

Герцог

Давно, барон, давно расстались мы.
Вы помните меня?

Барон

Я, государь?
Я как теперь вас вижу. О, вы были
Ребенок резвый. Мне покойный герцог
Говаривал: Филипп (он звал меня
Всегда Филиппом), что ты скажешь? а?
Лет через двадцать, право, ты да я,
Мы будем глупы перед этим малым...
Пред вами, то есть...

Герцог

Мы теперь знакомство
Возобновим. Вы двор забыли мой.

Барон

Стар, государь, я нынче: при дворе
Что делать мне? Вы молоды; вам любы
Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь. Бог даст войну, так я
Готов, кряхтя, взлезть снова па коня;
Еще достанет силы старый меч
За вас рукой дрожащей обнажить.

Герцог

Барон, усердье ваше нам известно;
Вы деду были другом; мой отец
Вас уважал. И я всегда считал
Вас верным, храбрым рыцарем — но сядем.
У вас, барон, есть дети?

Барон

Сын один.

Герцог

Зачем его я при себе не вижу?
Вам двор наскучил, но ему приличпо
В его летах и званье быть при нас.

Барон

Мой сын не любит шумной, светской жизни;
Он дикого и сумрачного права —
Вкруг замка по лесам он вечно бродит,
Как молодой олень.

Герцог

Нехорошо
Ему дичиться. Мы тотчас приучим
Его к весельям, к балам и турнирам.
Пришлите мне его; назначьте сыну
Приличное по званью содержанье...
Вы хмуритесь, устали вы с дороги,
Быть может?

Барон

Государь, я не устал;
Но вы меня смутили. Перед вами
Я б не хотел сознаться, но меня

Вы принуждаете сказать о сыне
То, что желал от вас бы утаить.
Он, государь, к несчастью, недостоин
Ни милостей, ни вашего вниманья.
Он молодость свою проводит в буйстве,
В пороках низких...

Герцог

Это потому,
Барон, что он один. Уединенье
И праздность губят молодых людей.
Пришлите к нам его: он позабудет
Привычки, зарожденные в глуши.

Барон

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Герцог

Но почему ж?

Барон

Увольте старика...

Герцог

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Барон

На сына я
Сердит.

Герцог

За что?

Барон

За злое преступленье.

Герцог

А в чем оно, скажите, состоит?

Барон

Увольте, герцог...

Герцог

Это очень странно,
Или вам стыдно за него?

Барон

Да... стыдно...

Герцог

Но что же сделал он?

Барон

Он... он меня
Хотел убить.

Герцог

Убить! так я суду
Его предам, как черного злодея.

Барон

Доказывать не стану я, хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он моей,
Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Герцог

Что?

Барон

Обокрасть.

Альбер бросается в комнату.

Альбер

Барон, вы лжете.

Герцог
(сыну)

Как смели вы?..

Барон

Ты здесь! ты, ты мне смел!..
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

Альбер

Вы лжец.

Барон

И гром еще не грянул, боже правый!
Так подыми ж, и меч нас рассуди!
(Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.)

Альбер

Благодарю. Вот первый дар отца.

Герцог

Что видел я? что было предо мною?
Сын принял вызов старого отца!
В какие дни падел я на себя
Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец,
И ты, тигренок! полно.
(Сыну)
Бросьте это;
Отдайте мне перчатку эту
(отымает ее).

Альбер
(a parte[1]*)*
Жаль.

Герцог

Так и впился в нее когтями! — изверг!
Подите: на глаза мои не смейте
Являться до тех пор, пока я сам
Не призову вас.

Альбер выходит.

Вы, старик несчастный,
Не стыдно ль вам...

Барон

Простите, государь...
Стоять я не могу... мои колени
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?
Ключи, ключи мои!..

Герцог

Он умер. Боже!
Ужасный век, ужасные сердца!

1830

[1] в сторону *(лат.)*.

СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я рапние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,

Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам повы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже́, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже́, когда услышал в перый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.— О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя пежданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,
Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире
Разыгрывал voi che sapete[1]. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрыпача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

Входит слепой старик со скрыпкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет.
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье.

Старик уходит.

Ты, Сальери,
Не в духе пынче. Я приду к тебе
В другое время.

[1] о вы, кому известно *(итал.)*.

Сальери

Что ты мне принес?

Моцарт

Нет — так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцарт
(за фортепиано)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.
(Играет.)

Сальери

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрыпача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.
(Уходит.)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,

Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец пашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.
Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.
Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил... без меня?

Моцарт
(бросает салфетку на стол)

Довольно, сыт я.
(Идет к фортепиано.)
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.
(Играет.)
Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.
(Один.)
Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

1830

Leporello. O statua gentilissima
Del gran' Commendatore!..
...Ah, Padrone!

Don Giovanni[1]

СЦЕНА I

Дон Гуан и Лепорелло.

Дон Гуан

Дождемся ночи здесь. Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита! скоро
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
Как думаешь? узнать меня нельзя?

Лепорелло

Да! Дон Гуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!

Дон Гуан

Шутишь?
Да кто ж меня узнает?

Лепорелло

Первый сторож,
Гитана или пьяный музыкант,
Иль свой же брат, нахальный кавалер,
Со шпагою под мышкой и в плаще.

Дон Гуан

Что за беда, хоть и узнают. Только б
Не встретился мне сам король. А впрочем,
Я никого в Мадрите не боюсь.

[1] Лепорелло. О любезнейшая статуя великого командора! Ах, хозяин! *Дон Жуан (итал.).*

Лепорелло

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился,— что тогда, скажите,
Он с вами сделает?

Дон Гуан

Пошлет назад.
Уж верно головы мне не отрубят.
Ведь я не государственный преступник.
Меня он удалил, меня ж любя;
Чтобы меня оставила в покое
Семья убитого...

Лепорелло

Ну то-то же!
Сидели б вы себе спокойно там.

Дон Гуан

Слуга покорный! я едва-едва
Не умер там со скуки. Что за люди,
Что за земля! А небо?.. точный дым.
А женщины? Да я не променяю,
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Последней в Андалузии крестьянки
На первых тамошних красавиц — право.
Они сначала нравилися мне
Глазами синими, да белизною,
Да скромностью — а пуще новизною;
Да, слава богу, скоро догадался —
Увидел я, что с ними грех и знаться —
В них жизни нет, всё куклы восковые;
А наши!.. Но послушай, это место
Знакомо нам; узнал ли ты его?

Лепорелло

Как не узнать: Антоньев монастырь
Мне памятен. Езжали вы сюда,
А лошадей держал я в этой роще.
Проклятая, признаться, должность. Вы
Приятнее здесь время проводили,
Чем я, поверьте.

Дон Гуан
(задумчиво)

Бедная Инеза!
Ее уж нет! как я любил ее!

Лепорелло

Инеза! — черноглазая... о, помню.
Три месяца ухаживали вы
За ней; насилу-то помог лукавый.

Дон Гуан

В июле... ночью. Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губах. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб — как у больной —
Муж у нее был негодяй суровый,
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

Лепорелло

Что ж, вслед за ней другие были.

Дон Гуан

Правда.

Лепорелло

А живы будем, будут и другие.

Дон Гуан

И то.

Лепорелло

Теперь которую в Мадрите
Отыскивать мы будем?

Дон Гуан

О, Лауру!
Я прямо к ней бегу являться.

Лепорелло

Дело.

Дон Гуан

К ней прямо в дверь — а если кто-нибудь
Уж у нее — прошу в окно прыгнуть.

Лепорелло

Конечно. Ну, развеселились мы.
Недолго нас покойницы тревожат.
Кто к нам идет?

Входит монах.

Монах

Сейчас она приедет
Сюда. Кто здесь? не люди ль Доны Анны?

Лепорелло

Нет, сами по себе мы господа,
Мы здесь гуляем.

Дон Гуан

А кого вы ждете?

Монах

Сейчас должна приехать Дона Анна
На мужнину гробницу.

Дон Гуан

Дона Анна
Де Сольва! как! супруга командора
Убитого... не помню кем?

Монах

Развратным,
Бессовестным, безбожным Дон Гуаном.

Лепорелло

Ого! вот как! Молва о Дон Гуане
И в мирный монастырь проникла даже,
Отшельники хвалы ему поют.

Монах

Он вам знаком, быть может?

Лепорелло

Нам? нимало.
А где-то он теперь?

Монах

Его здесь нет,
Он в ссылке далеко.

Лепорелло

И слава богу.
Чем далее, тем лучше. Всех бы их,
Развратников, в один мешок да в море.

Дон Гуан

Что, что ты врешь?

Лепорелло

Молчите: я нарочно...

Дон Гуан

Так здесь похоронили командора?

Монах

Здесь; памятник жена ему воздвигла
И приезжает каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать.

Дон Гуан

Что за странная вдова?
И не дурна?

Монах

Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны,
Но лгать грешно; не может и угодник
В ее красе чудесной не сознаться.

Дон Гуан

Недаром же покойник был ревнив.
Он Дону Анну взаперти держал,
Никто из нас не видывал ее.
Я с нею бы хотел поговорить.

Монах

О, Дона Анна никогда с мужчиной
Не говорит.

Дон Гуан

А с вами, мой отец?

Монах

Со мной иное дело; я монах.
Да вот она.

Входит Дона Анна.

Дона Анна

Отец мой, отоприте.

Монах

Сейчас, сеньора; я вас ожидал.

Дона Анна идет за монахом.

Лепорелло

Что, какова?

Дон Гуан

Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.

Лепорелло

Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
Вам все равно, с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли.

Дон Гуан

Слушай, Лепорелло,
Я с нею познакомлюсь.

Лепорелло

Вот еще!
Куда как нужно! Мужа повалил
Да хочет поглядеть на вдовьи слезы.
Бессовестный!

Дон Гуан

Однако уж и смерклось.
Пока луна над нами не взошла
И в светлый сумрак тьмы не обратила,
Взойдем в Мадрит.

(Уходит.)

Лепорелло

Испанский гранд как вор
Ждет ночи и луны боится — боже!
Проклятое житье. Да долго ль будет
Мне с ним возиться? Право, сил уж нет.

СЦЕНА II

Комната. Ужин у Лауры.

Первый гость

Кляпусь тебе, Лаура, никогда
С таким ты совершенством не играла.
Как роль свою ты верно поняла!

Второй

Как развила ее! с какою силой!

Третий

С каким искусством!

Лаура

Да, мне удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце...

Первый

Правда.
Да и теперь глаза твои блестят
И щеки разгорелись, не проходит
В тебе восторг. Лаура, не давай
Остыть ему бесплодно; спой, Лаура,
Спой что-нибудь.

Лаура

Подайте мне гитару.
(Поет.)

Все

O brava! brava! чудно! бесподобно!

Первый

Благодарим, волшебница. Ты сердце
Чаруешь нам. Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия... взгляни:
Сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.

Второй

Какие звуки! сколько в них души!
А чьи слова, Лаура?

Лаура

Дон Гуана.

Дон Карлос

Что? Дон Гуан!

Лаура

Их сочинил когда-то
Мой верный друг, мой ветреный любовник.

Дон Карлос

Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец,
А ты, ты дура.

Лаура

Ты с ума сошел?
Да я сейчас велю тебя зарезать
Моим слугам, хоть ты испанский гранд.

Дон Карлос
(встает)

Зови же их.

Первый

Лаура, перестань;
Дон Карлос, не сердись. Она забыла...

Лаура

Что? что Гуан на поединке честно
Убил его родного брата? Правда: жаль,
Что не его.

Дон Карлос

Я глуп, что осердился.

Лаура

Ага! сам сознаешься, что ты глуп.
Так помиримся.

Дон Карлос

Виноват, Лаура,
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно...

Лаура

А виновата ль я, что поминутно
Мне на язык приходит это имя?

Гость

Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита,
Лаура, спой еще.

Лаура

Да, на прощанье,
Пора, уж ночь. Но что же я спою?
А, слушайте.

(Поет.)

Все

Прелестно, бесподобно!

Лаура

Прощайте ж, господа.

Гости

Прощай, Лаура.

Выходят. Лаура останавливает Дон Карлоса.

Лаура

Ты, бешеный! останься у меня,
Ты мне понравился; ты Дон Гуана
Напомнил мне, как выбранил меня
И стиснул зубы с скрежетом.

Дон Карлос

Счастливец!
Так ты его любила.

Лаура делает утвердительно знак.

Очень?

Лаура

Очень.

Дон Карлос

И любишь и теперь?

Лаура

В сию минуту?
Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
Теперь люблю тебя.

Дон Карлос

Скажи, Лаура,
Который год тебе?

Лаура

Осьмнадцать лет.

Дон Карлос

Ты молода... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя
Еще лет шесть они толпиться будут,
Тебя ласкать, лелеять, и дарить,
И серенадами ночными тешить,
И за тебя друг друга убивать
На перекрестках ночью. Но когда
Пора пройдет, когда твои глаза
Впадут и веки, сморщась, почернеют
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда — что скажешь ты?

Лаура

Тогда? Зачем
Об этом думать? что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?
Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна

Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»
А далеко, на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело? слушай, Карлос,
Я требую, чтоб улыбнулся ты...
— Ну то-то ж! —

Дон Карлос

Милый демон!

Стучат.

Дон Гуан

Гей! Лаура!

Лаура

Кто там? чей это голос?

Дон Гуан

Отопри...

Лаура

Ужели!.. Боже!..

(Отпирает двери, входит Дон Гуан.)

Дон Гуан

Здравствуй...

Лаура

Дон Гуан!..

(Лаура кидается ему на шею.)

Дон Карлос

Как! Дон Гуан!..

Дон Гуан

Лаура, милый друг!..

(Целует ее.)

Кто у тебя, моя Лаура?

Дон Карлос

Я,

Дон Карлос.

Дон Гуан

Вот нечаянная встреча!
Я завтра весь к твоим услугам.

Дон Карлос

Нет!
Теперь — сейчас.

Лаура

Дон Карлос, перестаньте!
Вы не на улице — вы у меня —
Извольте выйти вон.

Дон Карлос
(ее не слушая)

Я жду. Ну что ж,
Ведь ты при шпаге.

Дон Гуан

Ежели тебе
Не терпится, изволь.

Бьются.

Лаура

Ай! Ай! Гуан!..
(Кидается на постелю.)

Дон Карлос падает.

Дон Гуан

Вставай, Лаура, кончено.

Лаура

Что там?
Убит? прекрасно! в комнате моей!
Что делать мне теперь, повеса, дьявол?
Куда я выброшу его?

Дон Гуан

Быть может,
Он жив еще.

Лаура
(осматривает тело)

Да! жив! гляди, проклятый,
Ты прямо в сердце ткнул — небось не мимо
И кровь нейдет из треугольной ранки,
А уж не дышит — каково?

Дон Гуан

Что делать?
Он сам того хотел.

Лаура

Эх, Дон Гуан,
Досадно, право. Вечные проказы —
А все не виноват... Откуда ты?
Давно ли здесь?

Дон Гуан

Я только что приехал
И то тихонько — я ведь не прощен.

Лаура

И вспомнил тотчас о своей Лауре?
Что хорошо, то хорошо. Да полно,
Не верю я. Ты мимо шел случайно
И дом увидел.

Дон Гуан

Нет, моя Лаура,
Спроси у Лепорелло. Я стою
За городом, в проклятой венте. Я Лауры
Пришел искать в Мадрите.
(Целует ее.)

Лаура

Друг ты мой!..
Постой... при мертвом!.. что нам делать с ним?

Дон Гуан

Оставь его: перед рассветом, рано,
Я вынесу его под епанчою
И положу на перекрестке.

Лаура

Только
Смотри, чтоб не увидели тебя.
Как хорошо ты сделал, что явился
Одной минутой позже! у меня
Твои друзья здесь ужинали. Только
Что вышли вон. Когда б ты их застал!

Дон Гуан

Лаура, и давно его ты любишь?

Лаура

Кого? ты, видно, бредишь.

Дон Гуан

А признайся,
А сколько раз ты изменяла мне
В моем отсутствии?

Лаура

А ты, повеса?

Дон Гуан

Скажи... Нет, после переговорим.

СЦЕНА III

Памятник командора.

Дон Гуан

Все к лучшему: нечаянно убив
Дон Карлоса, отшельником смиренным
Я скрылся здесь — и вижу каждый день
Мою прелестную вдову, и ею,
Мне кажется, замечен. До сих пор
Чинились мы друг с другом; но сегодня
Впущуся в разговоры с ней; пора.
С чего начну? «Осмелюсь»... или нет:
«Сеньора»... ба! что в голову придет,
То и скажу, без предуготовленья,
Импровизатором любовной песни...
Пора б уж ей приехать. Без нее —
Я думаю — скучает командор.
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть.
Когда за Эскурьялом мы сошлись,
Наткнулся мне на шпагу он и замер,
Как на булавке стрекоза — а был
Он горд и смел — и дух имел суровый...
А! вот она.

Входит Дона Анна.

Дона Анна

Опять он здесь. Отец мой,
Я развлекла вас в ваших помышленьях —
Простите.

Дон Гуан

Я просить прощенья должен
У вас, сеньора. Может, я мешаю
Печали вашей вольно изливаться.

Дона Анна

Нет, мой отец, печаль моя во мне,
При вас мои моленья могут к небу
Смиренно возноситься — я прошу
И вас свой голос с ними съединить.

Дон Гуан

Мне, мне молиться с вами, Дона Анна!
Я не достоин участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять —
Я только издали с благоговеньем
Смотрю на вас, когда, склонившись тихо,
Вы черные власы на мрамор бледный
Рассыплете — и мнится мне, что тайно
Гробницу эту ангел посетил,
В смущенном сердце я не обретаю
Тогда молений. Я дивлюсь безмолвно
И думаю — счастлив, чей хладный мрамор
Согрет ее дыханием небесным
И окроплен любви ее слезами...

Дона Анна

Какие речи — странные!

Дон Гуан

Сеньора?

Дона Анна

Мне... вы забыли.

Дон Гуан

Что? что недостойный
Отшельник я? что грешный голос мой
Не должен здесь так громко раздаваться?

Дона Анна

Мне показалось... я не поняла...

Дон Гуан

Ах вижу я: вы всё, вы всё узнали!

Дона Анна

Что я узнала?

Дон Гуан

Так, я не монах —
У ваших ног прощенья умоляю.

Дона Анна

О боже! встаньте, встаньте... Кто же вы?

Дон Гуан

Несчастный, жертва страсти безнадежной.

Дона Анна

О боже мой! и здесь при этом гробе!
Подите прочь.

Дон Гуан

Минуту, Дона Анна,
Одну минуту!

Дона Анна

Если кто взойдет!..

Дон Гуан

Решетка заперта. Одну минуту!

Дона Анна

Ну? что? чего вы требуете?

Дон Гуан

Смерти.
О пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят
Не подле праха, милого для вас,
Не тут — не близко — дале где-нибудь,
Там — у дверей — у самого порога,

Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб
Пойдете кудри наклонять и плакать.

Дона Анна

Вы не в своем уме.

Дон Гуан

Или желать
Кончины, Дона Анна, знак безумства?
Когда б я был безумец, я б хотел
В живых остаться, я б имел надежду
Любовью нежной тронуть ваше сердце;
Когда б я был безумец, я бы ночи
Стал провождать у вашего балкона,
Тревожа серенадами ваш сон,
Не стал бы я скрываться, я напротив
Старался быть везде б замечен вами;
Когда б я был безумец, я б не стал
Страдать в безмолвии...

Дона Анна

И так-то вы
Молчите?

Дон Гуан

Случай, Дона Анна, случай
Увлек меня.— Не то вы б никогда
Моей печальной тайны не узнали.

Дона Анна

И любите давно уж вы меня?

Дон Гуан

Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цепу
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово счастье.

Дона Анна

Подите прочь — вы человек опасный.

Дон Гуан

Опасный! чем?

Дона Анна

Я слушать вас боюсь.

Дон Гуан

Я замолчу; лишь не гоните прочь
Того, кому ваш вид одна отрада.
Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.

Дона Анна

Подите — здесь не место
Таким речам, таким безумствам. Завтра
Ко мне придите. Если вы клянетесь
Хранить ко мне такое ж уваженье,
Я вас приму, но вечером, позднее,—
Я никого не вижу с той поры,
Как овдовела...

Дон Гуан

Ангел Дона Анна!
Утешь вас бог, как сами вы сегодня
Утешили несчастного страдальца.

Дона Анна

Подите ж прочь.

Дон Гуан

Еще одну минуту.

Дона Анна

Нет, видно, мне уйти... к тому ж моленье
Мне в ум нейдет. Вы развлекли меня
Речами светскими; от них уж ухо
Мое давно, давно отвыкло.— Завтра
Я вас приму.

Дон Гуан

Еще не смею верить,
Не смею счастью моему предаться...
Я завтра вас увижу! — и не здесь
И не украдкою!

Дона Анна

Да, завтра, завтра.
Как вас зовут?

Дон Гуан

Диего де Кальвадо.

Дона Анна

Прощайте, Дон Диего.

(Уходит.)

Дон Гуан

Лепорелло!

Лепорелло входит.

Лепорелло

Что вам угодно?

Дон Гуан

Милый Лепорелло!
Я счастлив!.. «Завтра — вечером, позднее...»
Мой Лепорелло, завтра — приготовь...
Я счастлив, как ребенок!

Лепорелло

С Доной Анной
Вы говорили? может быть, она
Сказала вам два ласкового слова
Или ее благословили вы.

Дон Гуан

Нет, Лепорелло, нет! она свиданье,
Свиданье мне назначила!

Лепорелло

Неужто!
О вдовы, все вы таковы.

Дон Гуан

Я счастлив!
Я петь готов, я рад весь мир обнять.

Лепорелло

А командор? что скажет он об этом?

Дон Гуан

Ты думаешь, он станет ревновать?
Уж верно нет; он человек разумный
И, верно, присмирел с тех пор, как умер.

Лепорелло

Нет; посмотрите на его статую.

Дон Гуан

Что ж?

Лепорелло

Кажется, на вас она глядит
И сердится.

Дон Гуан

Ступай же, Лепорелло,
Проси ее пожаловать ко мне —
Нет, не ко мне — а к Доне Анне, завтра.

Лепорелло

Статую в гости звать! зачем?

Дон Гуан

Уж верно
Не для того, чтоб с нею говорить —
Проси статую завтра к Доне Анне
Прийти попозже вечером и стать
У двери на часах.

Лепорелло

Охота вам
Шутить, и с кем!

Дон Гуан

Ступай же.

Лепорелло

Но...

Дон Гуан

Ступай.

Лепорелло

Преславная, прекрасная статуя!
Мой барин Дон Гуан покорно просит
Пожаловать... Ей-богу, не могу,
Мне страшно.

Дон Гуан

Трус! вот я тебя!..

Лепорелло

Позвольте.
Мой барин Дон Гуан вас просит завтра
Прийти попозже в дом супруги вашей
И стать у двери...

Статуя кивает головой в знак согласия.

Ай!

Дон Гуан

Что там?

Лепорелло

Ай, ай!..
Ай, ай... Умру!

Дон Гуан

Что сделалось с тобою?

Лепорелло
(кивая головой)

Статуя... ай!..

Дон Гуан

Ты кланяешься!

Лепорелло

Нет,
Не я, она!

Дон Гуан

Какой ты вздор несешь!

Лепорелло

Подите сами.

Дон Гуан

Ну смотри ж, бездельник.
(Статуе.)
Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на сто́роже в дверях. Что? будешь?

Статуя кивает опять.

О боже!

Лепорелло

Что? я говорил...

Дон Гуан

Уйдем.

СЦЕНА IV

Комната Доны Анны.

Дон Гуан и Дона Анна.

Дона Анна

Я приняла вас, Дон Диего; только
Боюсь, моя печальная беседа
Скучна вам будет: бедная вдова,
Все помню я свою потерю. Слезы
С улыбкою мешаю, как апрель.
Что ж вы молчите?

Дон Гуан

Наслаждаюсь молча,
Глубоко мыслью быть наедине
С прелестной Доной Анной. Здесь — не там,
Не при гробнице мертвого счастливца —
И вижу вас уже не на коленах
Пред мраморным супругом.

Дона Анна

Дон Диего,
Так вы ревнивы.— Муж мой и во гробе
Вас мучит?

Дон Гуан

Я не должен ревновать.
Он вами выбран был.

Дона Анна

Нет, мать моя
Велела мне дать руку Дон Альвару,
Мы были бедны, Дон Альвар богат.

Дон Гуан

Счастливец! он сокровища пустые
Принес к ногам богини, вот за что
Вкусил он райское блаженство! Если б
Я прежде вас узнал, с каким восторгом
Мой сан, мои богатства, всё бы отдал,
Всё за единый благосклонный взгляд;
Я был бы раб священной вашей воли,
Все ваши прихоти я б изучал,
Чтоб их предупреждать; чтоб ваша жизнь
Была одним волшебством беспрерывным.
Увы! — Судьба судила мне иное.

Дона Анна

Диего, перестаньте: я грешу,
Вас слушая,— мне вас любить нельзя,
Вдова должна и гробу быть верна.
Когда бы знали вы, как Дон Альвар
Меня любил! о, Дон Альвар уж верно
Не принял бы к себе влюбленной дамы,
Когда б он овдовел.— Он был бы верн
Супружеской любви.

Дон Гуан

Не мучьте сердца
Мне, Дона Анна, вечным поминаньем
Супруга. Полно вам меня казнить,
Хоть казнь я заслужил, быть может.

Дона Анна

Чем же?
Вы узами не связаны святыми
Ни с кем.— Не правда ль? Полюбив меня,
Вы предо мной и перед небом правы.

Дон Гуан

Пред вами! Боже!

Дона Анна

Разве вы виновны
Передо мной? Скажите, в чем же.

Дон Гуан

Нет!
Нет, никогда.

Дона Анна

Диего, что такое?
Вы предо мной не правы? в чем, скажите.

Дон Гуан

Нет! ни за что!

Дона Анна

Диего, это странно:
Я вас прошу, я требую.

Дон Гуан

Нет, нет.

Дона Анна

А! Так-то вы моей послушны воле!
А что сейчас вы говорили мне?
Что вы б рабом моим желали быть.
Я рассержусь, Диего: отвечайте,
В чем предо мной виновны вы?

Дон Гуан

Не смею.
Вы ненавидеть станете меня.

Дона Анна

Нет, нет. Я вас заранее прощаю,
Но знать желаю...

Дон Гуан

Не желайте знать
Ужасную, убийственную тайну.

Дона Анна

Ужасную! вы мучите меня.
Я страх как любопытна — что такое?
И как меня могли вы оскорбить?
Я вас не знала — у меня врагов
И нет и не было. Убийца мужа
Один и есть.

Дон Гуан
(про себя)

Идет к развязке дело!
Скажите мне, несчастный Дон Гуан
Вам незнаком?

Дона Анна

Нет, отроду его
Я не видала.

Дон Гуан

Вы в душе к нему
Питаете вражду?

Дона Анна

По долгу чести,
Но вы отвлечь стараетесь меня
От моего вопроса, Дон Диего —
Я требую...

Дон Гуан

Что, если б Дон Гуана
Вы встретили?

Дона Анна

Тогда бы я злодею
Кинжал вонзила в сердце.

Дон Гуан

Дона Анна,
Где твой кинжал? вот грудь моя.

Дона Анна

Диего!
Что вы?

Дон Гуан

Я не Диего, я Гуан.

Дона Анна

О боже! нет, не может быть, не верю.

Дон Гуан

Я Дон Гуан.

Дона Анна

Неправда.

Дон Гуан

Я убил
Супруга твоего; и не жалею
О том — и нет раскаянья во мне.

Дона Анна

Что слышу я? Нет, нет, не может быть.

Дон Гуан

Я Дон Гуан, и я тебя люблю.

Дона Анна
(падая)

Где я?.. где я! мне дурно, дурно.

Дон Гуан

Небо!
Что с нею? что с тобою, Дона Анна?
Встань, встань, проснись, опомнись: твой Диего,
Твой раб у ног твоих.

Дона Анна

Оставь меня!
(Слабо.)
О, ты мне враг — ты отнял у меня
Всё, что я в жизни...

Дон Гуан

Милое созданье!
Я всем готов удар мой искупить,
У ног твоих жду только приказанья,
Вели — умру; вели — дышать я буду
Лишь для тебя...

Дона Анна

Так это Дон Гуан...

Дон Гуан

Не правда ли, он был описан вам
Злодеем, извергом.— О Дона Анна,—
Молва, быть может, не совсем неправа,

На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.

Дона Анна

О, Дон Гуан красноречив — я знаю,
Слыхала я; он хитрый искуситель.
Вы, говорят, безбожный развратитель,
Вы сущий демон. Сколько бедных женщин
Вы погубили?

Дон Гуан

Ни одной доныне
Из них я не любил.

Дона Анна

И я поверю,
Чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз,
Чтоб не искал во мне он жертвы новой!

Дон Гуан

Когда б я вас обманывать хотел,
Признался ль я, сказал ли я то имя,
Которого не можете вы слышать?
Где ж видно тут обдуманность, коварство?

Дона Анна

Кто знает вас? — Но как могли прийти
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас,
И ваша смерть была бы неизбежна.

Дон Гуан

Что значит смерть? за сладкий миг свиданья
Безропотно отдам я жизнь.

Дона Анна

Но как же
Отсюда выйти вам, неосторожный!

Дон Гуан
(целуя ей руки)

И вы о жизни бедного Гуана
Заботитесь! Так ненависти нет
В душе твоей небесной, Дона Анна?

Дона Анна

Ах если б вас могла я ненавидеть!
Однако ж надобно расстаться нам.

Дон Гуан

Когда ж опять увидимся?

Дона Анна

Не знаю.
Когда-нибудь.

Дон Гуан

А завтра?

Дона Анна

Где же?

Дон Гуан

Здесь.

Дона Анна

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Дон Гуан

В залог прощенья мирный поцелуй...

Дона Анна

Пора, поди.

Дон Гуан

Один, холодный, мирный...

Дона Анна

Какой ты неотвязчивый! на, вот он.
Что там за стук?.. о скройся, Дон Гуан.

Дон Гуан

Прощай же, до свиданья, друг мой милый.
(Уходит и вбегает опять.)
А!..

Дона Анна

Что с тобой? А!..

Входит статуя командора.
Донна Анна падает.

Статуя

Я на зов явился.

Дон Гуан

О боже! Дона Анна!

Статуя

Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.

Дон Гуан

Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

Статуя

Дай руку.

Дон Гуан

Вот она... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти — пусти мне руку...
Я гибну — кончено — о Дона Анна!

Проваливаются.

1830

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

(ИЗ ВИЛЬСОНОВОЙ ТРАГЕДИИ: THE CITY OF THE PLAGUE [1])

Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин.

Молодой человек

Почтенный председатель! я напомню
О человеке, очень нам знакомом,
О том, чьи шутки, повести смешные,
Ответы острые и замечанья,
Столь едкие в их важности забавной,
Застольную беседу оживляли
И разгоняли мрак, который ныне
Зараза, гостья наша, насылает
На самые блестящие умы.
Тому два дня наш общий хохот славил
Его рассказы; невозможно быть,
Чтоб мы в своем веселом пированье
Забыли Джаксона! Его здесь кресла
Стоят пустые, будто ожидая
Весельчака — но он ушел уже
В холодные подземные жилища...
Хотя красноречивейший язык
Не умолкал еще во прахе гроба;
Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться. Итак,
Я предлагаю выпить в его память
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,
Как будто б был он жив.

[1] Чумный город *(англ.)*.

Председатель

Он выбыл первый
Из круга нашего. Пускай в молчанье
Мы выпьем в честь его.

Молодой человек

Да будет так!

Все пьют молча.

Председатель

Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством;
Спой, Мери, нам уныло и протяжно,
Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем.

Мери
(поет)

Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит,—
Тихо все. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.

Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их!
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой!

Если ранняя могила
Суждена моей весне —
Ты, кого я так любила,
Чья любовь отрада мне,—
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей,
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.

И потом оставь селенье!
Уходи куда-нибудь,
Где б ты мог души мученье
Усладить и отдохнуть.
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

Председатель

Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню!
В дни прежние чума такая ж, видно,
Холмы и долы ваши посетила,
И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев,
Бегущих ныне весело и мирно
Сквозь дикий рай твоей земли родной;
И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной... Нет, ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный звук!

Мери

О, если б никогда я не певала
Вне хижины родителей моих!
Они свою любили слушать Мери;
Самой себе я, кажется, внимаю,
Поющей у родимого порога.
Мой голос слаще был в то время: он
Был голосом невинности...

Луиза

Не в моде
Теперь такие песни! Но все ж есть
Еще простые души: рады таять
От женских слез и слепо верят им.
Она уверена, что взор слезливый
Ее неотразим — а если б то же
О смехе думала своем, то, верно,
Все б улыбалась. Вальсингам хвалил
Крикливых северных красавиц: вот
Она и расстоналась. Ненавижу
Волос шотландских этих желтизну.

Председатель

Послушайте: я слышу стук колес!

Едет телега, наполненная мертвыми телами.
Негр управляет ею.

Ага! Луизе дурно; в ней, я думал,
По языку судя, мужское сердце.
Но так-то — нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страстьми томимой!
Брось, Мери, ей воды в лицо. Ей лучше.

Мери

Сестра моей печали и позора,
Приляг на грудь мою.

Луиза
(приходя в чувство)

Ужасный демон
Приснился мне: весь черный, белоглазый...
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь...
Скажите мне: во сне ли это было?
Проехала ль телега?

Молодой человек

Ну, Луиза,
Развеселись — хоть улица вся наша
Безмолвное убежище от смерти,
Приют пиров, ничем не возмутимых,
Но знаешь, эта черная телега

Имеет право всюду разъезжать.
Мы пропускать ее должны! Послушай,
Ты, Вальсингам: для пресеченья споров
И следствий женских обмороков спой
Нам песню, вольную, живую песню,
Не грустию шотландской вдохновенну,
А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею кипящей.

Председатель

Такой не знаю, но спою вам гимн
Я в честь чумы,— я написал его
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам
Впервые в жизни! Слушайте ж меня:
Охриплый голос мой приличен песне.

Многие

Гимн в честь чумы! послушаем его!
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!

Председатель
(поет)

Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,—
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.

*

Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?

*

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

*

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

*

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

*

Итак,— хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье,—
Быть может... полное Чумы!

Входит старый священник.

Священник

Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов — и землю
Над мертвыми телами потрясают!
Когда бы стариков и жен моленья
Не освятили общей, смертной ямы,—
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму кромешную тащат со смехом.

Несколько голосов

Он мастерски об аде говорит!
Ступай, старик! ступай своей дорогой!

Священник

Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души.
Ступайте по своим домам!

Председатель

Домá
У нас печальны — юность любит радость.

Священник

Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот,
Кто три тому недели, на коленях,
Труп матери, рыдая, обнимал
И с воплем бился над ее могилой?
Иль думаешь, она теперь не плачет,
Не плачет горько в самых небесах,
Взирая на пирующего сына,
В пиру разврата, слыша голос твой,
Поющий бешеные песни, между
Мольбы святой и тяжких воздыханий?
Ступай за мной!

Председатель

Зачем приходишь ты
Меня тревожить? Не могу, не должен
Я за тобой идти: я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю —
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня, господь)
Погибшего, но милого созданья...
Тень матери не вызовет меня
Отселе,— поздно, слышу голос твой,
Меня зовущий,— признаю усилья
Меня спасти... старик, иди же с миром;
Но проклят будь, кто за тобой пойдет!

Многие

Bravo, bravo! достойный председатель!
Вот проповедь тебе! пошел! пошел!

Священник

Матильды чистый дух тебя зовет!

Председатель
(встает)

Клянись же мне, с поднятой к небесам
Увядшей, бледною рукой — оставить
В гробу навек умолкнувшее имя!
О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище! Меня когда-то
Она считала чистым, гордым, вольным —
И знала рай в объятиях моих...
Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже...

Женский голос

Он сумасшедший,—
Он бредит о жене похороненной!

Священник

Пойдем, пойдем...

Председатель

Отец мой, ради бога,
Оставь меня!

Священник

Спаси тебя господь!
Прости, мой сын.

Уходит. Пир продолжается.
Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.

1830

БЕРЕГ ДНЕПРА. МЕЛЬНИЦА

Мельник, дочь его.

Мельник

Ох, то-то все вы, девки молодые,
Все глупы вы. Уж если подвернулся
К вам человек завидный, не простой,
Так должно вам его себе упрочить.
А чем? разумным, честным поведеньем;
Заманивать то строгостью, то лаской;
Порою исподволь обиняком
О свадьбе заговаривать,— а пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище; она —
Что слово — раз упустишь, не воротишь.
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгадать; подумать надо:
«Не вечно ж будет он меня любить
И баловать меня».— Да нет! куда
Вам помышлять о добром деле! кстати ль?
Вы тотчас одуреете; вы рады
Исполнить даром прихоти его;
Готовы целый день висеть на шее
У милого дружка,— а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл; а вы
Остались ни с чем. Ох, все вы глупы!
Не говорил ли я тебе сто раз:
Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,

Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да спроста
Не погуби самой себя.— Что ж вышло?..
Сиди теперь да вечно плачь о том,
Чего уж не воротишь.

Дочь

Почему же
Ты думаешь, что бросил он меня?

Мельник

Как почему? да сколько раз, бывало,
В неделю он на мельницу езжал?
А? всякий божий день, а иногда
И дважды в день — а там все реже, реже
Стал приезжать — и вот девятый день,
Как не видали мы его. Что скажешь?

Дочь

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник — за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле.

Мельник

Да, верь ему. Когда князья трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.
Он сам работает, куда как жалко!
А за меня вода!.. а мне покою
Ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь:
То здесь, то там нужна еще починка,
Где гниль, где течь. Вот если б ты у князя
Умела выпросить на перестройку
Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

Дочь

Ах!

Мельник

Что такое?

Дочь

Чу! Я слышу топот
Его коня... Он, он!

Мельник

Смотри же, дочь,
Не забывай моих советов, помни...

Дочь

Вот он, вот он!

Входит князь. Конюший уводит его коня.

Князь

Здорово, милый друг.
Здорово, мельник.

Мельник

Милостивый князь,
Добро пожаловать. Давно, давно
Твоих очей мы светлых не видали.
Пойду тебе готовить угощенье.
(Уходит.)

Дочь

Ах, наконец ты вспомнил обо мне!
Не стыдно ли тебе так долго мучить
Меня пустым жестоким ожиданьем?
Чего мне в голову не приходило?
Каким себя я страхом не пугала?
То думала, что конь тебя занес
В болото или пропасть, что медведь
Тебя в лесу дремучем одолел,
Что болен ты, что разлюбил меня —
Но слава богу! жив ты, невредим
И любишь все по-прежнему меня;
Не правда ли?

Князь

По-прежнему, мой ангел,
Нет, больше прежнего.

Любовница

Однако ты
Печален; что с тобою?

Князь

Я печален?
Тебе так показалось.— Нет, я весел
Всегда, когда тебя лишь вижу.

Она

Нет.
Когда ты весел, издали ко мне
Спешишь и кличешь: где моя голубка,
Что делает она? а там целуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебе
И ожидала ли тебя так рано.
А нынче: слушаешь меня ты молча,
Не обнимаешь, не целуешь в очи,
Ты чем-нибудь встревожен, верно. Чем же?
Уж на меня не сердишься ли ты?

Князь

Я не хочу притворствовать напрасно.
Ты права: в сердце я ношу печаль
Тяжелую — и ты ее не можешь
Ни ласками любовными рассеять,
Ни облегчить, ни даже разделить.

Она

Но больно мне с тобою не грустить
Одною грустью — тайну мне поведай.
Позволишь — буду плакать; не позволишь —
Ни слезкой я тебе не досажу.

Князь

Зачем мне медлить? чем скорей, тем лучше.
Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете
Блаженства прочного: ни знатный род,
Ни красота, ни сила, ни богатство,
Ничто беды не может миновать.
И мы,— не правда ли, моя голубка?
Мы были счастливы; по крайней мере
Я счастлив был тобой, твоей любовью.
И что вперед со мною ни случится,
Где б ни был я, всегда я буду помнить
Тебя, мой друг; того, что я теряю,
Ничто на свете мне не заменит.

Она

Я слов твоих еще не понимаю,
Но уж мне страшно. Нам судьба грозит,
Готовит нам неведомое горе,
Разлуку, может быть.

Князь

Ты угадала.
Разлука нам судьбою суждена.

Она

Кто нас разлучит? разве за тобою
Идти вослед я всюду не властна?
Я мальчиком оденусь. Верно буду
Тебе служить, дорогою, в походе
Иль на войне — войны я не боюсь —
Лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю.
Иль выведать мои ты мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь.

Князь

Нет, шутки мне на ум нейдут сегодня,
Выведывать тебя не нужно мне,
Не спаряжаюсь я ни в дальний путь,
Ни на войну — я дома остаюсь,
Но должен я с тобой навек проститься.

Она

Постой, теперь я понимаю все...
Ты женишься.

Князь молчит.

Ты женишься!..

Князь

Что делать?
Сама ты рассуди. Князья не вольны,
Как девицы — не по́ сердцу они
Себе подруг берут, а по расчетам
Иных людей, для выгоды чужой.
Твою печаль утешит бог и время.

Не забывай меня; возьми на память
Повязку — дай, тебе я сам надену.
Еще с собой привез я ожерелье —
Возьми его. Да вот еще: отцу
Я это посулил. Отдай ему.
(Дает ей в руки мешок с золотом.)
Прощай.

Она

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.

Князь

Припомни.

Она

Для тебя
Я всё готова... нет не то... Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть... Все не то...
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

Князь

Несчастная! как быть? хоть для него
Побереги себя; я не оставлю
Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься, не крушися.
Дай обниму тебя в последний раз.
(Уходя.)
Ух! кончено — душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо.
(Уходит.)

Она остается неподвижною.

Мельник
(входит)

Не угодно ль будет
Пожаловать на мельницу... да где ж он?
Скажи, где князь наш? ба, ба, ба! какая
Повязка! вся в каменьях дорогих!

Так и горит! и бусы!.. Ну, скажу:
Подарок царский. Ах он благодетель!
А это что? мошонка! уж не деньги ль?
Да что же ты стоишь, не отвечаешь,
Не вымолвишь словечка? али ты
От радости нежданной одурела,
Иль на тебя столбняк нашел?

Дочь

Не верю,
Не может быть. Я так его любила.
Или он зверь? Иль сердце у него
Косматое?

Мельник

О ком ты говоришь?

Дочь

Скажи, родимый, как могла его
Я прогневить? в одну недельку разве
Моя краса пропала? иль его
Отравой опоили?

Мельник

Что с тобою?

Дочь

Родимый, он уехал. Вон он скачет! —
И я, безумная, его пустила,
Я за полы его не уцепилась,
Я не повисла на узде коня!
Пускай же б он с досады отрубил
Мне руки по локоть, пускай бы тут же
Он растоптал меня своим конем!

Мельник

Ты бредишь!

Дочь

Видишь ли, князья не вольны,
Как девицы, не по́ сердцу они
Берут жену себе... а вольно им,

Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: тебя я повезу
В мой светлый терем, в тайную светлицу
И наряжу в парчу и в бархат алый.
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься
И до зари за мельницей сидеть.
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь.

Мельник

Вот в чем дело.

Дочь

Да кто ж его невеста? на кого
Он променял меня? уж я узнаю,
Я доберусь. Я ей скажу, злодейке:
Отстань от князя,— видишь, две волчихи
Не водятся в одном овраге.

Мельник

Дура!
Уж если князь берет себе невесту,
Кто может помешать ему? Вот то-то.
Не говорил ли я тебе...

Дочь

И мог он,
Как добрый человек, со мной прощаться,
И мне давать подарки — каково! —
И деньги! выкупить себя он думал,
Он мне хотел язык засеребрить,
Чтоб не прошла о нем худая слава
И не дошла до молодой жены.
Да, бишь, забыла я — тебе отдать
Велел он это серебро, за то,
Что был хорош ты до него, что дочку
За ним пускал таскаться, что ее
Держал не строго... Впрок тебе пойдет
Моя погибель.
(Отдает ему мешок.)

Отец
(в слезах)

До чего я дожил!
Что бог привел услышать! Грех тебе
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей.
Как было мне тебя не баловать?
Бог наказал меня за то, что слабо
Я выполнил отцовский долг.

Дочь

Ох, душно!
Холодная змея мне шею давит...
Змеей, змеей опутал он меня,
Не жемчугом.
(Рвет с себя жемчуг.)

Мельник

Опомнись.

Дочь

Так бы я
Разорвала тебя, змею злодейку,
Проклятую разлучницу мою!

Мельник

Ты бредишь, право, бредишь.

Дочь
(сымает с себя повязку)

Вот венец мой,
Венец позорный! вот чем нас венчал
Лукавый враг, когда я отреклася
Ото всего, чем прежде дорожила.
Мы развенчались.— Сгинь ты, мой венец!
(Бросает повязку в Днепр.)
Теперь все кончено.
(Бросается в реку.)

Старик
(падая)

Ох, горе, горе!

КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ

Свадьба. Молодые сидят за столом.
Гости. Хор девушек.

Сват

Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь с княгипей молодой.
Дай бог вам жить в любови да совете,
А нам у вас почаще пировать.
Что ж, красные девицы, вы примолкли?
Что ж, белые лебедушки, притихли?
Али все песенки вы перепели?
Аль горлышки от пенья пересохли?

Хор

Сватушка, сватушка,
Бестолковый сватушка!
По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися:
Верея ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невесту ехати.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся,
В мошне денежка шевелится,
К красным девушкам поровится.

Сват

Насмешницы, уж выбрали вы песню!
На, на, возьмите, не корите свата.
(Дарит девушек.)

Один голос

По камушкам по желтому песочку
Пробегала быстрая речка,
В быстрой речке гуляют две рыбки,
Две рыбки, две малые плотицы.

А слышала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечор у нас красна девица топилась,
Утопая, мила друга проклинала.

Сват

Красавицы! да это что за песня?
Она, кажись, не свадебная; нет.
Кто выбрал эту песню? а?

Девушки

Не я —
Не я — не мы...

Сват

Да кто ж пропел ее?

Шепот и смятение между девушками.

Князь

Я знаю кто.
(Встает из-за стола и говорит тихо конюшему.)
Она сюда прокралась.
Скорее выведи ее. Да сведай,
Кто смел ее впустить.

Конюший подходит к девушкам.

Князь
(садится, про себя)

Она, пожалуй,
Готова здесь наделать столько шума,
Что со стыда не буду знать, куда
И спрятаться.

Конюший

Я не нашел ее.

Князь

Ищи. Она, я знаю, здесь. Она
Пропела эту песню.

Гость

Ай да мед!
И в голову и в ноги так и бьет —
Жаль, горек: подсластить его б не худо.

Молодые целуются. Слышен слабый крик.

Князь

Она! вот крик ее ревнивый.
(Конюшему.)
Что?

Конюший

Я не нашел ее нигде.

Князь

Дурак.

Дружко
(вставая)

Не время ль нам княгиню выдать мужу
Да молодых в дверях осыпать хмелем?

Все встают.

Сваха

Вестимо, время. Дайте ж петуха.

Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем — и ведут в спальню.

Сваха

Княгиня душенька, не плачь, не бойся,
Послушна будь.

Молодые уходят в спальню, гости все расходятся, кроме свахи и дружка.

Дружко

Где чарочка? Всю ночь
Под окнами я буду разъезжать,
Так укрепиться мне вином не худо.

Сваха
(наливает ему чарку)

На, кушай на здоровье.

Дружко

Ух, спасибо.
Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда.

Сваха

Да, слава богу,
Все хорошо,— одно не хорошо.

Дружко

А что?

Сваха

Да не к добру пропели песню
Не свадебную, а бог весть какую.

Дружко

Уж эти девушки — никак нельзя им
Не попроказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.
Пойти-ка мне садиться на коня.
Прощай, кума.

(Уходит.)

Сваха

Ох, сердце не на месте!
Не в пору сладили мы эту свадьбу.

СВЕТЛИЦА

Княгиня и мамка.

Княгиня

Чу — кажется, трубят; нет, он не едет.
Ах, мамушка, как был он женихом,
Он от меня на шаг не отлучался,
С меня очей, бывало, не сводил.
Женился он, и все пошло не так.
Теперь меня ранешенько разбудит
И уж велит себе коня седлать;
Да до ночи бог ведает где ездит;
Воротится, чуть ласковое слово
Промолвит мне, чуть ласковой рукой
По белому лицу меня потреплет.

Мамка

Княгинюшка, мужчина что петух:
Кири куку! мах-мах крылом и прочь.
А женщина, что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят.
Пока жених — уж он не насидится;
Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится.

Женился — и заботы настают.
То надобно соседей навестить,
То на охоту ехать с соколами,
То на войну нелегкая несет,
Туда, сюда — а дома не сидится.

Княгиня

Как думаешь? уж нет ли у него
Зазнобы тайной?

Мамка

Полно, не греши:
Да на кого тебя он променяет?
Ты всем взяла: красою ненаглядной,
Обычаем и разумом. Подумай:
Ну в ком ему найти, как не в тебе,
Сокровища такого?

Княгиня

Когда б услышал бог мои молитвы
И мне послал детей! К себе тогда б
Умела вновь я мужа привязать...
А! полон двор охотниками. Муж
Домой приехал. Что ж его не видно?

Входит ловчий.

Что князь, где он?

Ловчий

Князь приказал домой
Отъехать нам.

Княгиня

А где ж он сам?

Ловчий

Остался
Один в лесу на берегу Днепра.

Княгиня

И князя вы осмелились оставить
Там одного; усердные вы слуги!
Сейчас назад, сейчас к нему скачите!
Сказать ему, что я прислала вас.

Ловчий уходит.

Ах боже мой! в лесу ночной порою
И дикий зверь, и лютый человек,
И леший бродит — долго ль до беды.
Скорей зажги свечу перед иконой.

Мамка

Бегу, мой свет, бегу...

ДНЕПР. НОЧЬ

Русалки

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.

Одна

Тише, тише! под кустами
Что-то кроется во мгле.

Другая

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле.

Прячутся.

Князь

Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов — видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;

Тут садик был с забором, неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла...
Возможно ли?..

Идет к деревьям, листья сыплются.

Что это значит? листья,
Поблекнув, вдруг свернулися и с шумом
Посыпались как пепел на меня.
Передо мной стоит он гол и черен,
Как дерево проклятое.

Входит старик, в лохмотьях и полунагой.

Старик

Здорово,
Здорово, зять.

Князь

Кто ты?

Старик

Я здешний ворон.

Князь

Возможно ль? Это мельник.

Старик

Что за мельник!
Я продал мельницу бесам запечным,
А денежки отдал на сохраненье
Русалке, вещей дочери моей.
Они в песку Днепра-реки зарыты,
Их рыбка-одноглазка стережет.

Князь

Несчастный, он помешан. Мысли в нем
Рассеяны, как тучи после бури.

Старик

Зачем вечор ты не приехал к нам?
У нас был пир, тебя мы долго ждали.

Князь

Кто ждал меня?

Старик

Кто ждал? вестимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вам даю: сиди она
С тобою хоть всю ночь, до петухов,
Ни слова не скажу я.

Князь

Бедный мельник!

Старик

Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом
И с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг
Почувствовал, два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могилке
Сижу да каркаю.

Князь

Какая жалость!
Кто ж за тобою смотрит?

Старик

Да, за мною
Присматривать не худо. Стар я стал
И шаловлив. За мной, спасибо, смотрит
Русалочка.

Князь

Кто?

Старик

Внучка.

Князь

Невозможно
Попять его. Старик, ты здесь в лесу
Иль с голоду умрешь, иль зверь тебя
Заест. Не хочешь ли пойти в мой терем
Со мною жить?

Старик

В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь ожерельем. Здесь я жив,
И сыт, и волен. Не хочу в твой терем.
(Уходит.)

Князь

И этому все я виною! Страшно
Ума лишиться. Легче умереть.
На мертвеца глядим мы с уваженьем,
Творим о нем молитвы. Смерть равняет
С ним каждого. Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
Напрасно речь ему дана, не правит
Словами он, в нем брата своего
Зверь узнает, он людям в посмеянье,
Над ним всяк волен, бог его не судит.
Старик несчастный! вид его во мне
Раскаянья все муки растравил!

Ловчий

Вот он. Насилу-то его сыскали!

Князь

Зачем вы здесь?

Ловчий

Княгиня нас послала.
Она боялась за тебя.

Князь

Несносна
Ее заботливость! иль я ребенок,
Что шагу мне ступить нельзя без няньки?
(Уходит.)

Русалки показываются над водой.

Русалки

Что, сестрицы? в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Плеском, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?

Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,
Петухи в селе пропели,
Закатилася луна.

Одна

Погодим еще, сестрица.

Другая

Нет, пора, пора, пора.
Ожидает нас царица,
Наша строгая сестра.

Скрываются.

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО

Терем русалок.
Русалки прядут около своей царицы.

Старшая русалка

Оставьте пряжу, сестры. Солнце село.
Столбом луна блестит над нами. Полно,
Плывите вверх под небом поиграть,
Да никого не трогайте сегодня,
Ни пешехода щекотать не смейте,
Ни рыбакам их невод отягчать
Травой и тиной, ни ребенка в воду
Заманивать рассказами о рыбках.

Входит русалочка.

Где ты была?

Дочь

На землю выходила
Я к дедушке. Все просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,

Которые когда-то в воду к нам
Он побросал. Я долго их искала;
А что такое деньги, я не знаю.
Однако же я вынесла ему
Пригоршню раковинок самоцветных.
Он очень был им рад.

Русалка

Безумный скряга!
Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придет мужчина. Стереги его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец.

Дочь

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

Русалка

Он сам; к нему нежнее приласкайся
И расскажи все то, что от меня
Ты знаешь про свое рожденье; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что все его я помню и люблю
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь

О, поняла.

Русалка

Ступай же.
(Одна.)
С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет — я каждый день
О мщенье помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал.

Князь

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Все здесь напоминает мне былое
И вольной красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.
Здесь некогда любовь меня встречала,
Свободная, кипящая любовь;
Я счастлив был, безумец!.. и я мог
Так ветрено от счастья отказаться.
Печальные, печальные мечты
Вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
И согласится он оставить лес
И к нам переселиться...

Русалочка выходит на берег.

Что я вижу!
Откуда ты, прекрасное дитя?

1832

Мартын. Послушай, Франц, в последний раз говорю тебе как отец: я долго терпел твои проказы; а долее терпеть не намерен. Уймись или худо будет.

Франц. Помилуй, батюшка; за что ты на меня сердишься? Я, кажется, ничего не делаю.

Мартын. Ничего не делаю! то-то и худо, что ничего не делаешь. Ты ленивец, даром хлеб ешь, да небо коптишь. На что ты надеешься? на мое богатство? Да разве я разбогател, сложа руки да сочиняя глупые песни? Как минуло мне четырнадцать лет, покойный отец дал мне два крейцера в руку да два пинка в гузно, да примолвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя тяжело. С той поры мы уж и не видались. Слава богу, нажил я себе и дом, и деньги, и честное имя,— а чем? бережливостию, терпением, трудолюбием. Вот уж мне и за пятьдесят, и пора бы уж отдохнуть да тебе передать и счетные книги и весь дом. А могу ли о том и подумать? Какую могу иметь к тебе доверенность? Тебе бы только гулять с господами, которые нас презирают да забирают в долг товары. Я знаю тебя, ты стыдишься своего состояния. Но слушай, Франц. Коли ты не переменишься, не отстанешь от дворян, да не примешься порядком за свое дело — то, видит бог, выгоню тебя из дому, а своим наследником назначу Карла Герца, моего подмастерья.

Франц. Твоя воля, батюшка; делай как хочешь.

Мартын. То-то ж; смотри...

Входит брат Бертольд.

Мартын. Вон и другой сумасброд. Зачем пожаловал?

Бертольд. Здравствуй, сосед. Мне до тебя нужда.

Мартын. Нужда! Опять денег?

Бертольд. Да... не можешь ли одолжить полтораста гульденов?

Мартын. Как не так — где мне их взять? Я ведь не клад.

Бертольд. Пожалуй — не скупись. Ты знаешь, что эти деньги для тебя не пропадшие.

Мартын. Как не пропадшие? Мало ли я тебе передавал денег? куда они делись?

Бертольд. В дело пошли; но теперь прошу тебя уж в последний раз.

Мартын. Об этих последних разах я слышу уж не в первый раз.

Бертольд. Нет, право. Последний мой опыт не удался от безделицы — теперь уж я всё расчислил; опыт мой не может не удаться.

Мартын. Эх, отец Бертольд! Коли бы ты не побросал в алхимический огонь всех денег, которые прошли через твои руки, то был бы богат. Ты сулишь мне сокровища, а сам приходишь ко мне за милостыней. Какой тут смысл?

Бертольд. Золота мне не нужно, я ищу одной истины.

Мартын. А мне черт ли в истине, мне нужно золото.

Бертольд. Так ты не хочешь поверить мне еще?

Мартын. Не могу и не хочу.

Бертольд. Так прощай же, сосед.

Мартын. Прощай.

Бертольд. Пойду к барону Раулю, авось даст он мне денег.

Мартын. Барон Рауль? да где взять ему денег? Вассалы его разорены. А, слава богу, нынче по большим дорогам не такто легко паживаться.

Бертольд. Я думаю, у него деньги есть, потому что у герцога затевается турнир, и барон туда отправляется. Прощай.

Мартын. И ты думаешь, даст он тебе денег?

Бертольд. Может быть, и даст.

Мартын. И ты употребишь их на последний опыт?

Бертольд. Непременно.

Мартын. А если опыт не удастся?

Бертольд. Нечего будет делать. Если и этот опыт не удастся, то алхимия вздор.

Мартын. А если удастся?

Бертольд. Тогда... я возвращу тебе с лихвой и благодарностию все суммы, которые занял у тебя, а барону Раулю открою великую тайну.

Мартын. Зачем барону, а не мне?

Бертольд. И рад бы, да не могу: ты знаешь, что я обещался пресвятой богородице разделить мою тайну с тем, кто поможет мне при последнем и решительном моем опыте.

Мартын. Эх, отец Бертольд, охота тебе разоряться! Куда ж ты? — постой! Ну, так и быть. На этот раз дам тебе денег взаймы. Бог с тобою! Но смотри ж, сдержи свое слово. Пусть этот опыт будет последним и решительным.

Бертольд. Не бойся. Другого уж не понадобится...

Мартын. Погоди же здесь; сейчас тебе вынесу — сколько, бишь, тебе надобно?

Бертольд. Полтораста гульденов.

Мартын. Полтораста гульденов... Боже мой! и еще в какие крутые времена!

Бертольд и Франц.

Бертольд. Здравствуй, Франц, о чем ты задумался?

Франц. Как мне не задумываться? Сейчас отец грозился меня выгнать и лишить наследства.

Бертольд. За что это?

Франц. За то, что я знакомство веду с рыцарями.

Бертольд. Он не совсем прав, да и не совсем виноват.

Франц. Разве мещанин недостоин дышать одним воздухом с дворянином? Разве не все мы произошли от Адама?

Бертольд. Правда, правда. Но видишь, Франц, уже этому давно: Каин и Авель были тоже братья, а Каин не мог дышать одним воздухом с Авелем — и они не были равны перед богом. В первом семействе уже мы видим неравенство и зависть.

Франц. Виноват ли я в том, что не люблю своего состояния? что честь для меня дороже денег?

Бертольд. Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду. Дворянин воюет и красуется. Мещанин трудится и богатеет. Почтен дворянин за решеткою своей башни, купец — в своей лавке...

Входит Мартын.

Мартын. Вот тебе полтораста гульденов — смотри же, тешу тебя в последний раз.

Бертольд. Благодарен, очень благодарен. Увидишь, не будешь раскаиваться.

Мартын. Постой! Ну, а если опыт твой тебе удастся, и у тебя будет и золота и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно наслаждаться жизнию?

Бертольд. Займусь еще одним исследованием: мне кажется, есть средство открыть perpetuum mobile... [1]

Мартын. Что такое perpetuum mobile?

---

[1] вечное движение *(лат.)*.

Бертольд. Perpetuum mobile, то есть *вечное движение*. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому... видишь ли, добрый мой Мартын: делать золото задача заманчивая, открытие, может быть, любопытное — но найти perpetuum mobile... о!..

Мартын. Убирайся к черту с твоим perpetuum mobile!.. Ей-богу, отец Бертольд, ты хоть кого из терпения выведешь. Ты требуешь денег на дело, а говоришь бог знает что. Невозможно. Экой он сумасброд!

Бертольд. Экой он брюзга!

Расходятся в разные стороны.

Франц. Черт побери наше состояние! — Отец у меня богат,— а мне какое дело? Дворянин, у которого нет ничего, кроме зазубренного меча да заржавленного шлема, счастливее и почетнее отца моего. Отец мой сымает перед ним шляпу, а тот и не смотрит на него.— Деньги! потому что деньги достались ему не дешево, так он и думает, что в деньгах вся и сила — как не так! Если он так силен, попробуй отец ввести меня в баронский замок! Деньги! Деньги рыцарю не нужны, на то есть мещане — как прижмет их, так и забрызжет кровь червонцами!.. Черт побери наше состояние! — Да по мне лучше быть последним минстрелем: этого по крайней мере в замке принимают... Госпожа слушает его песни, наливает ему чашу и подносит из своих рук...

Купец, сидя за своими книгами, считает, считает, клянется, хитрит перед всяким покупщиком: «Ей-богу, сударь, самый лучший товар, дешевле нигде не найдете».— Врешь ты, жид.— «Никак нет, честию вас уверяю»... Честию!.. Хороша честь! А рыцарь — он волен как сокол... он никогда не горбился над счетами, он идет прямо и гордо, он скажет слово, ему верят...

Да разве это жизнь? Черт ее побери! — Пойду лучше в минстрели.

Однако что это сказал монах? Турнир в * и туда едет барон — ах, боже мой! там будет и Клотильда. Дамы обсядут кругом, трепеща за своих рыцарей — трубы затрубят — выступят герольды — рыцари объедут поле, преклоняя копья перед балконом своих красавиц...— трубы опять затрубят — рыцари разъедутся — помчатся друг на друга... дамы ахнут... боже мой! и никогда не подыму я пыли на турнире, никогда герольды не возгласят моего имени, презренного мещанского имени, никогда Клотильда не ахнет...

Деньги! кабы знал он, как рыцари презирают нас, несмотря на наши деньги...

Альбер. А! это Франц; на кого ты раскричался?

Франц. Ах, сударь, вы меня слышали... Я сам с собою рассуждал...

Альбер. А о чем рассуждал ты сам с собою?

Франц. Я думал, как бы мне попасть на турнир.

Альбер. Ты хочешь попасть на турнир?

Франц. Точно так.

Альбер. Ничего нет легче: у меня умер мой конюший — хочешь ли на его место?

Франц. Как! бедный ваш Яков умер? отчего ж он умер?

Альбер. Ей-богу, не знаю; в пятницу он был здоровешенек; вечером воротился я поздно (я был в гостях у Ремона и порядочно подпил) — Яков сказал мне что-то... я рассердился и ударил его,— помнится, по щеке, а может быть, и в висок,— однако нет: точно по щеке; Яков повалился — да уж и не встал; я лег не раздевшись, а на другой день узнаю, что мой бедный Яков — умре́.

Франц. Ай, рыцарь! видно, пощечины ваши тяжелы.

Альбер. На мне была железная рукавица.— Ну что же, хочешь быть моим конюшим?

Франц *(почесывается)*. Вашим конюшим?

Альбер. Что ж ты почесываешься? соглашайся.— Я возьму тебя на турнир, ты будешь жить у меня в замке. Быть оруженосцем у такого рыцаря, как я, не шутка: ведь уж это ступень. Со временем, как знать, тебя посвятим и в рыцари — многие так начинали.

Франц. А что скажет мой отец?

Альбер. А ему какое дело до тебя?

Франц. Он меня наследства лишит...

Альбер. А ты плюнь — тебе же будет легче.

Франц. И я буду жить у вас в замке?..

Альбер. Конечно.— Ну, согласен?

Франц. Вы не будете давать мне пощечин?

Альбер. Нет, нет, не бойся; а хоть и случится такой грех — что за беда? — не все ж конюшие убиты до смерти.

Франц. И то правда: коли случится такой грех — посмотрим, кто кого...

Альбер. Что? что ты говоришь, я тебя не понял?

Франц. Так, я думал сам про себя.

Альбер. Ну, что ж — соглашайся...

Франц. Извольте — согласен.

Альбер. Нечего было и думать. Достань-ка себе лошадь и приходи ко мне.

Бертан Клотильда.

Клотильда. Берта, скажи мне что-нибудь, мне скучно.

Берта. О чем же я буду вам говорить? — не о нашем ли рыцаре?

Клотильда. О каком рыцаре?

Берта. О том, который остался победителем на турнире.

Клотильда. О графе Ротенфельде. Нет, я не хочу говорить о нем; вот уже две недели, как мы возвратились,— а он и не думал приехать к нам; это с его стороны неучтивость.

Берта. Погодите — я уверена, что он будет завтра...

Клотильда. Почему ты так думаешь?

Берта. Потому, что я его во сне видела.

Клотильда. И, боже мой! Это ничего не значит. Я всякую ночь вижу его во сне.

Берта. Это совсем другое дело — вы в него влюблены.

Клотильда. Я влюблена! Прошу пустяков не говорить... Да и про графа Ротенфельда толковать тебе нечего. Говори мне о ком-нибудь другом.

Берта. О ком же? О конюшем братца, о Франце?

Клотильда. Пожалуй, говори мне о Франце.

Берта. Вообразите, сударыня, что он от вас без ума.

Клотильда. Франц от меня без ума? кто тебе это сказал?

Берта. Никто, я сама заметила; когда вы садитесь верхом, он всегда держит вам стремя; когда служит за столом, он не видит никого, кроме вас; если вы уроните платок, он всех проворнее его подымет,— а на нас и не смотрит...

Клотильда. Или ты дура, или Франц предерзкая тварь...

Входят Альбер, Ротенфельд и Франц.

Альбер. Сестра, представляю тебе твоего рыцаря, граф приехал погостить в нашем замке.

Граф. Позвольте, благородная девица, недостойному вашему рыцарю еще раз поцеловать ту прекрасную руку, из которой получил я драгоценнейшую награду...

Клотильда. Граф, я рада, что имею честь принимать вас у себя... Братец, я буду вас ожидать в северной башне... *(Уходит.)*

Граф. Как она прекрасна!

Альбер. Она предобрая девушка. Граф, что же вы не раздеваетесь? Где ваши слуги? Франц! разуй графа.

Франц медлит.

Франц, разве ты глух?

Франц. *Я не всемирный* слуга, чтобы всякого разувать...

Граф. Ого, какой удалец!

Альбер. Грубиян! *(Замахивается.)* Я тебя прогоню!

Франц. Я сам готов оставить замок.

Альбер. Мужик, подлая тварь! Извините, граф, я с ним управлюсь... Вон!.. *(Толкает его в спину.)* Чтобы духа твоего здесь не было.

Граф. Пожалуйста, не трогайте этого дурака, он, право, не стоит...

Клотильда. Братец, мне до тебя просьба.

Альбер. Чего ты хочешь?

Клотильда. Пожалуйста, прогони своего конюшего Франца; он осмелился мне нагрубить...

Альбер. Как! и тебе?.. Жаль же, что я уж его прогнал; он от меня так скоро б не отделался. Да что ж он сделал?

Клотильда. Так, ничего. Если ты уж его прогнал, так нечего и говорить. Скажи, братец, долго ли граф пробудет у нас?

Альбер. Думаю, сестра, что это будет зависеть от тебя. Что ж ты краснеешь?..

Клотильда. Ты все шутишь... А он и не думает...

Альбер. Не думает? о чем же?

Клотильда. Ах, братец, какой ты несносный! Я говорю, что граф обо мне и не думает...

Альбер. Посмотрим, посмотрим — что будет то будет.

Франц. Вот наш домик... Зачем было мне оставлять его для гордого замка? Здесь я был хозяин, а там — слуга... и для чего?.. для гордых взоров наглой благородной девицы. Я переносил унижения, я унизился в глазах моих — я сделался слугою того, кто был моим товарищем, я привык сносить детские обиды глупого, избалованного повесы... я не примечал ничего... Я, который не хотел зависеть от отца,— я стал зависим от чужого... И чем это всё кончилось? — боже... кровь кидается в лицо — кулаки мои сжимаются... О, я им отомщу, отомщу...

Как-то примет меня отец! *(Стучится.)*

Карл *(выходит)*. Кто там так бодро стучится? — А! Франц, это ты! *(Про себя.)* Вот черт принес!

Франц. Здравствуй, Карл, отец дома?

Карл. Ах, Франц,— давно же ты здесь не был... Отец твой с месяц как уж помер.

Франц. Боже мой! Что ты говоришь?.. Отец мой умер! — Невозможно!

Карл. Так-то возможно, что его и схоронили.

Франц. Бедный, бедный старик!.. И мне не дали знать, что он болен! может быть, он умер с горести — он меня любил; он чувствовал сильно. Карл, и ты не мог послать за мною! Он меня бы благословил...

Карл. Он умер, осердясь на приказчика и выпив сгоряча три бутылки пива. Оттого и умер. Знаешь ли что еще, Франц? Ведь он лишил тебя наследства — а отдал все свое имение...

Франц. Кому?

Карл. Не смею тебе сказать — ты такой вспыльчивый...

Франц. Знаю: тебе...

Карл. Бог видит, я не виноват.— Я готов был бы тебе все отдать... потому что, видишь ли, хоть закон и на моей стороне,— однако вот, по совести, чувствую, что все-таки сын наследник отца, а не подмастерье... Но, видишь, Франц... я ждал тебя, а ты не приходил — я и женился... а вот теперь, как женат, уж я и не знаю, что делать... и как быть...

Франц. Владей себе моим наследством, Карл, я у тебя его не требую. На ком ты женат?

Карл. На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Иоганна Фурста, нашего соседа... Я тебе ее покажу. Если хочешь остаться, то у меня есть порожний уголок...

Франц. Нет, благодарствуй, Карл. Кланяйся Юлии — и вот отдай ей эту серебряную цепочку — от меня на память...

Карл. Добрый Франц! — Хочешь с нами отобедать? — мы только что сели за стол...

Франц. Не могу, я спешу...

Карл. Куда же?

Франц. Так, сам не знаю — прощай.

Карл. Прощай, бог тебе помоги.

Франц уходит.

А какой он добрый малый,— и как жаль, что он такой беспутный! — Ну, теперь я совершенно покоен: у меня не будет ни тяжбы, ни хлопот.

Вассалы, вооруженные косами и дубинами.

Франц. Они проедут через эту лужайку — смотрите же, не робеть; подпустите их как можно ближе, продолжая косить — рыцари на вас гаркнут — и наскачут,— тут вы размахнитесь косами по лошадиным ногам — а мы из лесу и приударим... чу!.. Вот они.

Франц с частью вассалов скрывается за лес.

Косари
(поют)

Ходит во́ поле коса,
Зелена́я полоса
Вслед за ней ложится.

Ой, ходи, моя коса.
Сердце веселится.

Несколько рыцарей, между ими Альбер и Ротенфельд.

Рыцари. Гей, вы — долой с дороги!

Вассалы сымают шляпы и не трогаются.

Альбер. Долой, говорят вам!.. Что это значит, Ротенфельд? они ни с места.

Ротенфельд. А вот пришпорим лошадей да потопчем их порядком...

Косари. Ребята, не робеть...

Лошади раненые падают с седоками, другие бесятся.

Франц *(бросается из засады)*. Вперед, ребята! У! у!..

Один рыцарь *(другому)*. Плохо, брат,— их более ста человек...

Другой. Ничего, нас еще пятеро верхами...

Рыцари. Подлецы, собаки, вот мы вас!

Вассалы. У! у! у!..

Сражение. Все рыцари падают один за другим.

Вассалы *(бьют их дубинами, косами)*. Наша взяла!.. Кровопийцы! разбойники! гордецы поганые! Теперь вы в наших руках...

Франц. Который из них Ротенфельд? — Друзья! подымите забрала,— где Альбер?

Едет другая толпа рыцарей.

Один из них. Господа! посмотрите, что это значит? Здесь дерутся...

Другой. Это бунт — подлый народ бьет рыцарей...

Рыцари. Господа! господа!.. Копья в упор!.. Пришпоривай!..

Наехавшие рыцари нападают на вассалов.

Вассалы. Беда! Беда! Это рыцари!.. *(Разбегаются.)*

Франц. Куда вы! Оглянитесь, их нет и десяти человек!..

Он ранен; рыцарь хватает его за ворот.

Рыцарь. Постой! брат... успеешь им проповедать.

Другой. И эти подлые твари могли победить благородных рыцарей! смотрите, один, два, три... девять рыцарей убито. Да это ужас.

Лежащие рыцари встают один за другим.

Р ы ц а р и. Как! вы живы?

А л ь б е р. Благодаря железным латам...

Все смеются.

Ага, Франц, это ты, дружок? Очень рад, что встречаю тебя... Господа рыцари! благодарим за великодушную помощь.

О д и н и з р ы ц а р е й. Не за что; на нашем месте вы бы сделали то же самое.

Р о т е н ф е л ь д. Смею ли просить вас в мой замок дни на три, отдохнуть после сражения и дружески попировать?..

Р ы ц а р ь. Извините, что не можем воспользоваться вашим благородным гостеприимством. Мы спешим на похороны Эльсбергского принца — и боимся опоздать...

Р о т е н ф е л ь д. По крайней мере сделайте мне честь у меня отужинать.

Р ы ц а р ь. С удовольствием.— Но у вас нет лошадей,— позвольте предложить вам наших... мы сядем за вами, как освобожденные красавицы.

Садятся.

А этого молодца, так и быть, довезем уж до первой виселицы... Господа, помогите его привязать к репице моей лошади...

ЗАМОК РОТЕНФЕЛЬДА

Р ы ц а р и ужинают.

О д и н р ы ц а р ь. Славное вино!

Р о т е н ф е л ь д. Ему более ста лет... Прадед мой поставил его в погреб, отправляясь в Палестину, где и остался; этот поход ему стоил двух замков и ротенфельдской рощи, которую продал он за бесценок какому-то епископу.

Р ы ц а р ь. Славное вино! — За здоровье благородной хозяйки!..

Р ы ц а р и. За здоровье прекрасной и благородной хозяйки!..

К л о т и л ь д а. Благодарю вас, рыцари. За здоровье ваших дам... *(Пьет.)*

Р о т е н ф е л ь д. За здоровье наших избавителей!

Р ы ц а р и. За здоровье наших избавителей!

О д и н и з р ы ц а р е й. Ротенфельд! праздник ваш прекрасен; но ему чего-то недостает...

Р о т е н ф е л ь д. Знаю, кипрского вина; что делать — все вышло на прошлой неделе.

Р ы ц а р ь. Нет, не кипрского вина; недостает песен миннезингера...

Ротенфельд. Правда, правда... Нет ли в соседстве миннезингера; ступайте-ка в гостипицу...

Альбер. Да чего ж нам лучше? Ведь Франц еще не повешен — кликнуть его сюда...

Ротенфельд. И в самом деле, кликнуть сюда Франца!

Рыцарь. Кто этот Франц?

Ротенфельд. Да тот самый негодяй, которого вы взяли сегодня в плен.

Рыцарь. Так он и миннезингер?

Альбер. О! все, что вам угодно. Вот он.

Ротенфельд. Франц! рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал.

Франц. Чего мне бояться? Пожалуй, я вам спою песню моего сочинения. Голос мой не задрожит, и язык не отнялся.

Ротенфельд. Посмотрим, посмотрим. Ну — начинай...

Франц
(поет)

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
A. M. D.[1] своею кровью
Начертал он на щите.

[1] Славься, матерь божья *(лат.)*.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам,—

Lumen coelum, sancta rosa! [1]
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

Восклицанья.

Рыцари. Славная песня; да она слишком заунывна. Нет ли чего повеселее?

Франц. Извольте; есть и повеселее.

Ротенфельд. Люблю за то, что не унывает! — Вот тебе кубок вина.

Франц

Воротился ночью мельник...
Женка! что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?
Иль мутит тебя лукавый?
Это ведра.— Ведра? право? —
Вот уж сорок лет живу,
Ни во сне, ни наяву
Не видал до этих пор
Я на ведрах медных шпор.

Рыцари. Славная песня! прекрасная песня! — ай да миннезингер!

Ротенфельд. А все-таки я тебя повешу.

Рыцари. Конечно — песня песнею, а веревка веревкой. Одно другому не мешает.

Клотильда. Господа рыцари! я имею просьбу до вас — обещайтесь не отказать.

Рыцарь. Что изволите приказать?

Другой. Мы готовы во всем повиноваться.

---

[1] Свет небес, святая роза! *(лат.)*

Клотильда. Нельзя ли помиловать этого бедного человека?.. он уже довольно наказан и раной и страхом виселицы.

Ротенфельд. Помиловать его!.. Да вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их порядком да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять...

Клотильда. Нет, я ручаюсь за Франца. Франц! Не правда ли, что если тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь?

Франц *(в чрезвычайном смущении)*. Сударыня... Сударыня...

Рыцарь. Ну, Ротенфельд... что дама требует, в том рыцарь не может отказать. Надобно его помиловать.

Рыцари. Надобно его помиловать.

Ротенфельд. Так и быть: мы его не повесим,— но запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся...

Рыцари. Быть так...

Клотильда. Однако...

Ротенфельд. Сударыня, я дал честное слово.

Франц. Как, вечное заключение! Да по мне лучше умереть.

Ротенфельд. Твоего мнения не спрашивают... Отведите его в башню...

Франца уводят.

Франц. Однако ж я ей обязан жизнию!

. . . . . .

1835

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

ГЛАВА I

Я в Париже:
Я начал жить, а не дышать.

Дмитриев.
Журнал путешественника

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность,

всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence.
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence [1].

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar [2] и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтескье и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и

[1] Счастливое время, отмеченное вольностью нравов,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит быть богомольным,
Когда готовы на все, кроме покаяния *(франц.)*.

[2] царского негра *(франц.)*.

вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самопадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум,— а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою стра-

сти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли, или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие степанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка

и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бóльшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете,— сказал ему герцог,— Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши

заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею,— сказал ему регент,— но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit» [1],— сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs» [2],— повторила графиня. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

---

[1] Доброй ночи *(франц.)*.
[2] Доброй ночи, господа *(франц.)*.

Прости, Леопора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то, по крайней мере, будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора,— отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива — и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки.— Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде,— сказал Петр,— и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же,— продолжал государь,— твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр по-

целовал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза,— сказал он одной из них,— помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим,— сказал он Ибрагиму,— не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ кото-

рого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

ГЛАВА III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные — следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец — он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал,— сказал Корсаков,— и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад,— продолжал Корсаков,— что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу,— сказал он,— что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь,— писала она,— что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю — и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous [1],— сказал он Ибрагиму,— государь престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и

[1] Между нами *(франц.)*.

щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» — «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлафорке, читая французскую книгу. «Так рано»,— сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй,— отвечал тот,— уж половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежие шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап,

царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гопимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?» [1],— спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались,— и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры

[1] Что за чертовщина все это? *(франц.)*

стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гóстьями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок большого орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага,— сказал Петр, увидя Корсакова,— попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков,— сказал ему Петр,— штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности славного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с бóльшим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протан-

цевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея... проклятый кубок большого орла!..» — но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

ГЛАВА IV

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостию выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и

собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели — мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностию. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна,— сказал князь Лыков,— каково поживаешь?

— Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура? — спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.— Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят — нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,— сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.— По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и только.— При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.

— А кто виноват,— сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей.— Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля? — возразил Кирила Петрович.— Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,— отвечал разгоряченный супруг,— что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа;* хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко,— сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.— А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет — уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да по-

трудиться пешком дойти до крыльца — куды! влетел! расшаркался, разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать ни взять — Корсаков,— сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось.— А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царский арап всех более на человека походит.

— Конечно,— заметил Гаврила Афанасьевич,— человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам,— бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли? — прервала дура Екимовна.— Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа»,— сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклони́лись. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь»,— сказал ей государь и, по своему обыкновению, поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина

и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из почтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! — сказал он хозяину: — Мне нужно с тобою поговорить наедине»,— и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

— Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец,— сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — сказал тесть.— Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей — не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет,— отвечал зять, нахмурясь.— Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин сто́ит нынешних новичков, блинников да басурманов,— но это статья особая.

— Так о чем же, братец,— сказала Татьяна Афанасьевна,— изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что же такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

— Слава богу,— сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь.— Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених,— дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,— крякнул Гаврила Афанасьевич,— за кого? то-то, за кого.

— А за кого же? — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,— сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец,— отвечала старушка,— как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?

— Нет, не Долгорукий.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

— Батюшка-братец,— сказала старушка слезливым голосом,— не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же,— возразил Гаврила Афанасьевич,— отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,— воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,— Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого,— сказал Гаврила Афанасьевич,— он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в

Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,— перервала старушка,— слыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась — и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

— Что Наташа? — спросил он.

— Худо,— отвечал огорченный отец,— хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

— Кто этот Валериан? — спросил встревоженный старик.— Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам,— отвечал Гаврила Афанасьевич,— на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два году, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

— Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? — Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает.

— Добро,— сказал государь,— если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

— Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

— Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

— Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

— Я, государь?..

— Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

— Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

— Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? — При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! — думал африканец,— зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения — более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть

пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением».

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено,— сказал Петр, взяв его под руку.— Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя без памяти. А теперь,— продолжал он, потряхивая дубинкою,— заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум веретена прерывал один тишину светлицы.

— Кто здесь? — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог.— Скоро ли рассветет? — спросила Наталья.

— Теперь уже полдень,— отвечала служанка.

— Ах боже мой, отчего же так темно?

— Окна закрыты, барышня.

— Дай же мне поскорее одеваться.

— Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

— Разве я больна? давно ли?

— Вот уж две недели.

— Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

— Что такое? — спросила больная.

— Господа откушали,— отвечала служанка; — встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

— Что Наташа?

— Здравствуй, тетушка,— сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

— Барышня в памяти,— сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

— Вас зовут, Гаврила Афанасьевич,— сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

— Дивлюсь твоему терпению,— сказал Корсаков Ибрагиму.— Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоем месте j'aurais planté là[1] старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé...[2] Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurée?[3] Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? Нельзя надеяться на женскую

---

[1] я бы плюнул на *(франц.)*.
[2] слабой здоровьем *(франц.)*.
[3] жеманницу *(франц.)*.

верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

— Благодарю за дружеский совет,— перервал холодно Ибрагим,— но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

— Смотри, Ибрагим,— отвечал, смеясь, Корсаков,— чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

— Ты уморишь ее,— говорила старушка.— Она не вынесет его виду.

— Но посуди ты сама,— возражал упрямый брат.— Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя — а я ссориться с ним не намерен.

— Господи боже мой,— сказала Татьяна Афанасьевна,— что с нею, бедною, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению.— Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

— Слава богу,— сказал он Ибрагиму,— опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и

все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь малепькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и пенависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движепия шестнадцатилетнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка? — сказала она,— батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды,— продолжала Наташа,— разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барип от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

— Боже мой, боже мой! — простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,— сказала карлица, целуя ее слабую руку.— Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан! — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,— сказала она, таинственно понизив голос,— кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что? — сказала испуганная Наташа,— я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается?

— То-то и беда,— отвечала карлица.— Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

ГЛАВА VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,— сказал молодой посетитель тронутым голосом,— ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Э-э-э,— вскричал он наконец, обнимая его,— сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

. . . . . .

1828

1. ЛИЗА — САШЕ

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня наравне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, все казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальных родственниц, demoiselles de compagnie[1] и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу

[1] компаньонок *(франц.)*.

могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволения ехать, и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дома,* я хозяйка — и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, все это осенью и зимою немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однако ж я не вовсе отказалась от суеты мира — вести об нем для меня занимательны.

Село Павловское.

2. ОТВЕТ САШИ

Милая Лиза.

Вообрази мое изумление, когда узнала я про твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и demoiselles de compagnie? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты, казалось, была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду. Я подозреваю... но ты со мною скромничаешь — и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости,— один из них спрашивал, имею ли о тебе известия. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепиано — и я совершенно с ним согласна. Я все надеюсь, что этот

припадок мизантропии будет не продолжителен. Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений и некому будет передавать эпиграмм моего сердца. Прости, моя милая,— подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. ЛИЗА — САШЕ

Письмо твое меня чрезвычайно утешило — оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь — не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений,— а на что же переписка наша? Пиши ко мне все, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что все, касающееся до него, для меня занимательно. В доказательство того прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному ли нашему говоруну Алексею Р — ? Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец балагур и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением. У нее нашла я целый шкап, наполненный старинными романами. Я намерена все это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я, благословясь, начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, зато последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий,— наконец добралась до шестого,— скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа, и конец. Каждый том заключал в себе две части, и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не из-

меняется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по-обыкновенному — не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более — ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. ОТВЕТ САШИ

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю, что Р — вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *oho!*.. а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный admirateur [1] Владимир **. Довольна ли ты? думаю, очень довольна, и, по своему обыкновенью, осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону, ** очень занят тобою. На твоем месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выйти за него,— ты жила бы на Английской набережной, по субботам имела бы вечера, и всякое утро заезжала бы за мною. Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за **.

Третьего дня был бал у К**. Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов. К. В. была одета очень просто; белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z, по своему обыкновению, была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир ** не танцевал. Он едет в отпуск. С. приехали (вероятно, первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянена — пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцевала *котильон* с несносным дипломатом Ст —, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятье. Прочитать его не надеюсь — с моим нетер-

[1] поклонник *(франц.)*.

пением; я и в Вальтере Скотте нахожу лишние страницы. Кстати: кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается — по крайней мере, он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. Прости, моя прелесть, довольна ли ты моею сегодняшней болтовнею?

5. ЛИЗА — САШЕ

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьбу. Откровенно признáюсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ — а я смиренная демократка. Спешу объясниться и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого милльонщика. Но ты знаешь, что значит наша Аристократия. Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством — и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К. и не имея суббот у себя на Английской набережной.

У нас зима: в деревне c'est un événement [1]. Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками,— все делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но все на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машенькой *** и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** их близкий родня. Машенька не видала его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом; видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми, конечно, стал бы он теперь смеяться; по крайней мере, видна душа свежая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не

[1] это целое событие *(франц.)*.

имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано,— но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики «Вестника Европы», но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны — смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы — санкт-петербургские недотроги!..

6. ЛИЗА — САШЕ

Милая! мне невозможно долее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастия, ** здесь. Что мне делать? голова моя кружится, я теряюсь, ради бога, реши, что мне делать. Расскажу тебе все...

Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения,— ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере, он каждый час, присвоивая себе новые права, говорил мне о своих чувствах и то ревновал, то жаловался... С ужасом думала я: к чему все это ведет! и с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга — думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию. Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины ***. Я приехала к обеду,

вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перецеловалась. Не замечая никого, сажусь подле хозяйки, гляжу: ** передо мной. Я остолбенела... Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол. Он сел против меня; я не смела на него взглянуть — но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейского офицера, беспокойство барышень, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учтивая холодность и совершенное невнимание гостя... После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно некстати, по делам ли заехал он в нашу сторону. «Я приехал по одному делу, от которого зависит счастие моей жизни»,— отвечал он вполголоса и тотчас отошел; он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла наверх к Машеньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от **. Он пробудет у них месяц или более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него — дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна — мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая, здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы — *и к чему?* Он добьется моей любви, моего признания,— потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня,— а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. ОТВЕТ САШИ

То ли дело облегчить сердце полной исповедию! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе было не сознаваться в том, что я давно знала: ** и ты — вы влюблены друг в друга — что за беда? На здоровье. Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастие — берегись накликать его. Почему тебе не выйти за **. Где тут неодержимые препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. Он богат за двух — чего ж вам более. Он аристократ; а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно спор зашел о дамах высшего круга. Я узнала, что Р объявил однажды себя на стороне аристократии, потому что она лучше обувается. Итак, не явно ль, что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня. ** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней. Мой совет: обвенчаться как можно скорее в вашей деревянной церкви и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С**. Поступок твоего рыцаря меня тронул, кроме шуток. Конечно, в старину любовник для благосклонного взгляда уезжал на три года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за 500 верст от Петербурга, для того чтоб увидеться со владычицею своего сердца,— право, много значит. ** достоин награды.

8. ВЛАДИМИР**—СВОЕМУ ДРУГУ

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уж две недели как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застает в нужде и в хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество; новые подымаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна фамилия не знает своих предков. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: «Гражданину

Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольничий князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером: Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme [1].

Все это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но, признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Фонвизина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!

Это, впрочем, не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле, с тех пор как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен — действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы ***. Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург. Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Все соседство съехалось. Явилась и Лиза — и едва поверила самой себе, увидев меня... Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере, я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, «А потому, что патриотки». Мужчины отменно недовольны моею *fatuité indolente* [2], которая здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство,— хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? Servitor di tutti quanti [3]. Пиши ко мне в село **.

---

[1] Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине *(франц.)*.

[2] *томным фатовством (франц.)*.

[3] Покорный слуга всех их, вместе взятых *(итал.)*.

9. ОТВЕТ ДРУГА

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете,— итак, пользуйся жизнию, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления насчет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело

Un homme sans peur et sans reproche,
Qui n'est ni roi, ni duc, ni comte aussi [1].

Состояние помещика, по-моему, самое завидное.

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей.

. . . . . .

Пустившись в важные рассуждения, я совсем забыл, что теперь тебе не до того — ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это не достойно тебя. В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на cidevant [2] гвардии хрипуна 1807 г. Покамест это недостаток, скоро ты будешь смешнее генерала Г **. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедую втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине — между прочим и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества cum servo servorum dei? [3] Это было б похоже на тебя. Я всякий день стану тебя ожидать.

10. ВЛАДИМИР**—СВОЕМУ ДРУГУ

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века — и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг,— нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это все переменилось. Французский кадриль заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет. Я следую духу времени; но

---

[1] Муж без страха и упрека,
Хоть он и не король, не герцог и даже не граф *(франц.)*.

[2] бывшего *(франц.)*.

[3] с рабом рабов божьих *(лат.)*.

ты неподвижен, ты ci-devant, un homme стереотип[1]. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z — обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршеской жизни: ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю с старухами в бостон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь. С Лизою вижусь каждый день — и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении, прелесть высшего петербургского общества, а между тем — что-то живое, снисходительное, доброродное (как говорит ее бабушка), ничего резкого, жесткого в ее суждениях, она не морщится перед впечатлениями, как ребенок перед ревенем. Она слушает и понимает — редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто самую тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой ***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы, есть у меня для развлечения Машенька ***. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные пяпюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там — мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый; что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истина, скучна как совершенство.

Не лучше ли:

Скучна как истина, глупа как совершенство.

То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.

. . . . . .

1829

---

[1] бывший человек, стереотип *(франц.)*.

Г-жа Простакова
То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.

Скотинин
Митрофан по мне.

Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый Государь мой ** **!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, все, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его,

секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подáть в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив испрáвного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению,

общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны, Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его нáвеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться мóжет); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая *.

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ **. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сде-

---

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукой автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.

лать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо, хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А.П.

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.
Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготов-

ленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов

отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды

подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,— сказал им Сильвио,— обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,— продолжал он, обратившись ко мне,— жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить»,— сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

— Может быть, мы никогда больше не увидимся,— сказал он мне,— перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

— Вам было странно,— продолжал он,— что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

— Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

— Вы с ним не дрались? — спросил я.— Обстоятельства, верно, вас разлучили?

— Я с ним дрался,— отвечал Сильвио,— и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police [1]); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

— Вы знаете,— продолжал Сильвио,— что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в пашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секун-

[1] полицейская шапка *(франц.)*.

данты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти,— сказал я ему,— вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать».— «Вы ничуть не мешаете мне,— возразил он,— извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио выпул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

— Вы догадываетесь,— сказал Сильвио,— кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противуположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть

проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя,* то есть самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких,* коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресение по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф

представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемопии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

— Вот хороший выстрел,— сказал я, обращаясь к графу.

— Да,— отвечал он,— выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? — продолжал он.

— Изрядно,— отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого.— В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов.

— Право? — сказала графиня, с видом большой внимательности,— а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

— Когда-нибудь,— отвечал граф,— мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

— О,— заметил я,— в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

— А каково стрелял он? — спросил меня граф.

— Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

— Это удивительно! — сказал граф,— а как его звали?

— Сильвио, ваше сиятельство.

— Сильвио! — вскричал граф, вскочив со своего места; — вы знали Сильвио?

— Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

— Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

— Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

— А сказывал он вам имя этого повесы?

— Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство,— продолжал я, догадываясь об истине,— извините... я не знал... уж не вы ли?..

— Я сам,— отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным,— а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

— Ах, милый мой,— сказала графиня,— ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

— Нет,— возразил граф,— я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился.— Первый месяц, the honeymoon [1], провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно,— продолжал он,— выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул писто-

[1] медовый месяц *(англ.)*.

лет и прицелился... Я считал секунды... я думал о пей... Ужаспая прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею,— сказал он,— что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. «Ты, граф, дьявольски счастлив»,— сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка; я не мог воздержаться от восклицания.)

— Я выстрелил,— продолжал граф,— и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая,— сказал я ей,— разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио,— правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня,— отвечал ей Сильвио,— однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве;— а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или пет?» — «Не буду,— отвечал Сильвио,— я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, по остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой.
. . . . . .
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут

тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: «Дети! придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворною головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? — раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату,

тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит, в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не проясня-

лось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать — и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик,— сказал он,— достать мне лошадей до Жадрина?» — «Каки у нас лошади»,— отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно».— «Постой,— сказал старик, опуская ставень,— я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» — «Что ж твой

сын?» — «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться».— «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрипели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет»,— отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узпать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька»,— отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчерась угорела»,— сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька»,— отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого

конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, пашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre [1], тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное!

---

[1] Да здравствует Генрих Четвертый *(франц.)*.

Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любови к государю! А для него какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и *с интересной бледностию,* как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è che dunqe?..[1]

Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно пасмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень

[1] Если это не любовь, так что же?.. *(итал.)*

ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая граппасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,— отвечала старушка,— подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю,— сказал Бурмин,— я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux [1].) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» — «Она всегда существовала,— прервала с живостию Марья Гавриловна,— я никогда не могла быть вашею женою...» — «Знаю,—

[1] Сен-Прё *(франц.)*.

отвечал он ей тихо,— знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но — я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взгляпула на него с удивлением.

— Я женат,— продолжал Бурмин,— я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна,— как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

— В начале 1812 года,— сказал Бурмин,— я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? — сказал мне кто-то,— невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темпом углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу,— сказала эта,— насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка»,— отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь»,— сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернул-

ся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

— Боже мой! — закричала Марья Гавриловна,— и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

— Не знаю,— отвечал Бурмин,— не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку,— так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин

Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет все было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою

светлицу. Адриян обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриян Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастие (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриян, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел немипуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узпать немца-ремесленника, вошел в компату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед,— сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать пе можем,— извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриян. «Э-х-хе,— отвечал Шульц,— и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».— «Сущая правда,— заметил Адриян; — однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся,

ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Теспая квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около пее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком бо́льшей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья па понедельник. Адриян тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриян ему пе уступал; дочери его чипились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку — и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриян пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем,

unserer Kundleute!» [1] Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо

Казалось в красненьком сафьянном переплете,

под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,— рассуждал он вслух,— чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных».— «Что ты, батюшка? — сказала работница, которая в это время разувала его,— что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселие! Экая страсть!» — «Ей-богу, созову,— продолжал Адриян,— и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окны были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриян подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчи-

[1] наших клиентов *(нем.)*.

ком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? — подумал Адриян.— Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адрияну лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне,— сказал, запыхавшись, Адриян,— войдите же, сделайте милость».— «Не церемонься, батюшка,— отвечал тот глухо,— ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адрияну и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел па лестницу, и тот за ним. Адрияну показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» — подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриян с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,— сказал бригадир от имени всей честной компании,— все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже невмочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел — так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адрияну. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.— Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты

продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриян, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адрияну с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриян все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с пим разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриян Прохорович,— сказала Аксинья, подавая ему халат.— К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,— отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорее чаю до позови дочерей.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней

мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и

часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай,* ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель,— поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с,— отвечал он с видом довольного самолюбия,— да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отве-

чала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его,— мы с тобою старые знакомые».— «Может статься,— отвечал он угрюмо,— здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало».— «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает»,— отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он.— Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни про-

едет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать

пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец,— ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его пагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного боль-

ного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось,— думал смотритель,— приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик,— что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее попапрасну».— «Что сделано, того не воротишь,— сказал молодой человек в крайнем замешательстве,— виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но

военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он,— не Минского ли?» — «Точно так,— отвечал кучер,— а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет».— «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее».— «Нужды нет,— возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца,— спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь,— отвечала молодая служанка,— зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка,— у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы,— что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» — и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год,— заключил он,— как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко слу-

чается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивовара. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка»,— отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его».— «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня,— отвечал мальчишка;— ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя,— сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила,— отвечал Ванька,— я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору

овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! — говорил он с лукавой усмешкою,— у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité) [1], без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение, однако ж nota nostra manet [2], как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России.*

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости,— сказала однажды Настя, одевая барышню.

---

[1] индивидуальность *(франц.)*.

[2] наше замечание остается в силе *(лат.)*.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот! — сказала Лиза,— господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ! — возразила Настя,— к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

— Ну, Лизавета Григорьевна,— сказала она, входя в комнату,— видела молодого Берестова: нагляделась довольно; целый день были вместе.

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с; пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом?

— Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да, грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть! — сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы, верно, встретите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar, ici...» [1] — и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая,— сказал он Лизе,— собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин,— сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой,— боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься,— сказал он ей,— ты мне позволишь идти подле себя?» — «А кто те мешает? — отвечала Лиза,— вольному воля, а дорога мирская».— «Откуда ты?» — «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке).— «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» — «Так точно,— отвечал Алексей,— я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь,— сказала она,— не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».— «Почему же ты так думаешь?» — «Да по всему».— «Однако ж?» — «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,— сказала она с важностию,— то не извольте забываться».— «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись.—

[1] Тубо, Сбогар, сюда... *(франц.)*

Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она,— разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако,— продолжала она,— болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» — «Акулиной,— отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой,— да пусти ж, барин; мне и домой пора».— «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу».— «Что ты? — возразила с живостию Лиза,— ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет: отец мой, Василий-кузнец, прибьет меня до смерти».— «Да я непременно хочу с тобою опять видеться».— «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».— «Когда же?» — «Да хоть завтра».— «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» — «Да, да».— «И ты не обманешь меня?» — «Не обману».— «Побожись».— «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее,— сказал он,— как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны, Алексей был в восхищении, целый день

думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,— сказала она наконец,— что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,— сказала Лиза,— довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не

прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и

таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? — сказала она с удивлением,— отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear [1]»,— отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! — сказала она, побледнев.— Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла? — возразил отец,— давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа,— отвечала Лиза,— я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».— «Опять какие-нибудь проказы! — сказал, смеясь, Григорий Иванович.— Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

---

[1] моя дорогая *(англ.)*.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile [1] торчали, как фижмы у Madame de Pompadour; [2] талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца,

[1] «по-дурацки» (фасон узких рукавов с пуфами у плеча) *(франц.)*.
[2] Мадам де Помпадур *(франц.)*.

признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? — спросил он Лизу.— А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ? — сказала она тотчас Алексею,— какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль»,— возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом».— «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж,— сказала она со

вздохом,— хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная».— «И! — сказал Алексей,— есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».— «А взаправду,— сказала Лиза,— не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! — говорил Алексей.— Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза ухо-

дила в свою компату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!..» — «Нет, батюшка,— отвечал почтительно Алексей,— я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться».— «Хорошо,— отвечал Иван Петрович,— вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской,— отвечал Иван Петрович; — невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.

— Не твое горе — ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю! Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет,— отвечал слуга,— Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно!» — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» — «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено,— думал он, подходя к гостиной,— объяснюсь с нею самою».— Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?» [1] — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

— Ага! — сказал Муромский,— да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Конец повестям И. П. Белкина

1830

[1] Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? *(франц.)*

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти все то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные постаринному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он все преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера — где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля — я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище, или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в семь часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в ** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18 ** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось — я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошеный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался оби-

таемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела»,— и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин — ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из пятнадцати домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосягаемо нам, непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне

случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я все читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? — сказал один другому: — Это Б., сочинитель».— «Сочинитель!» — воскликнул я невольно — и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшися сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту — только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают — оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель все уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною,— отроду эполеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить,— сказал я, приставя ко лбу руку,— вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастие читать в «Соревнователе просвещения»? — «Никак нет-с,— отвечал он мне,— я не сочинитель, а стряпчий, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту». Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне тридцати копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста — а все даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то

ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика — и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т. п. Несмотря на то поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу — но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастию мысли не приходили мне в голову — и в целые два дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную — но разве не существует уже бес-

смертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пищи красноречию. *** был переименован в город в 17 ** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» — «Книги!» — повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете — это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но все я был рад нечаянной находке, все же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, то есть ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предвари-

тельное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. *54 части.* Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностию и краткостию слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 — погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи, и к счастию успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания. Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей (говорят) любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей про-

стирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дерихуховым и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властию мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное квакание лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане, представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большей частию росту середнего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию. NB. *Баба здоровенная,* сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумыш-

ление. Они столь целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями — некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище — дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два-три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранилися и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почер-

ка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев, балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон-староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет, (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА

СТАРОСТА ТРИФОН

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властию старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили

припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; страшины витийствовали, мир волновался,— а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» — *Летопись горюхинского дьячка.*) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец с ужасными

проклятиями отослал спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело — и Горюхино заснуло, не предвидя, что́ ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевою площадию. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы,— и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» — повторил староста. «Все-ста»,— отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB. «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Я не мог сам отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А все, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано *NN*.

Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы — и с ужасом разошлись по домам.

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного *. Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

1830

---

* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку-пьяницу (Донесение горюхинских мужиков).

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени,— и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что́ должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, то есть ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее

была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частию состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и, вероятно, ничего по-русски не читала, не исключая и стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке (NB: Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограниченна. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление.

Эта путешественница — m-me de Staël[1]. Она приехала летом, когда бóльшая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший m-me de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу «Корины». Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во все время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и m-me de Staël. Ждали от нее поминутно bon-mot;[2] наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с m-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Что с тобою сделалось, ma chère?[3] — спросила я Полину,— неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» — «Ах, милая,— отвечала Полина,— я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленной! Она видела, чего им было надобно, что́ могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать... Но

---

[1] мадам де Сталь *(франц.)*.
[2] остроты *(франц.)*.
[3] моя дорогая *(франц.)*.

пускай,— с жаром продолжала Полина,— пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что́ сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!»

Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой m-me de Staël. Не знаю, что́ подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Чрез несколько дней m-me de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre mère et veuillez lui prèsenter les respects de votre amie *de S.*[1]

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с m-me de Staël, несмотря на все мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я все это в одном очень порядочном обществе. «Может быть,— заметили мне,— m-me de Staël была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна** доставляла ей нужные сведения».— «Помилуйте,— сказала я,— m-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная добрая m-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, m-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m-me de Staël будет шпионом у Наполеона!» — «Очень, очень может статься,— возразила востроносая графиня Б.— Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны

---

[1] Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас *де С. (франц.).*

довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог,— говорила она,— чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй,— сказала я однажды,— охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись,— сказала она,— разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на m-me de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении французской армии! «Будьте покойны, сударыня: Наполенон воюет против России, не противу

вас...» Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но m-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Корде, а наша Марфа Посадница? а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Уж, верно, не смелостию души и решительностию». Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes*[1] *.

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не владею еще моим имением,— отвечал мой повеса.— У меня всего-навсе тридцать тысяч долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей,— сказала она,— и честь и отечество, все безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна,— возразил он.— Вы требуете, чтобы все видели в вас m-me de Staël и говорили бы вам тирады из «Корины». Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновский полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их *** скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в двадцати верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею

---

[1] *Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах (франц.).*

* Кажется, слова Шатобриана. *(Прим. изд.)*

частию приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа Растопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры, им принимаемые, варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия — но мысль о Шарлоте Корде долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по-московскому. Давал обеды, завел théâtre de société [1], где разыгрывал французские proverbes [2] и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя...

Их было четверо — трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило

---

[1] домашний любительский театр *(франц.)*.
[2] пословицы *(франц.)*.

французов, как ожесточало русских. «Но вы,— спросила его Полина,— разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-н Загоскиным) — Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен! — возразила Полина,— а Наполеон все еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!» — «Тем хуже для нас»,— отвечал Сеникур и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные па знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками, умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся,— говорила она,— что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего не значащие письма, какова же будет мне его беседа в течение тихой семейственной жизни?» Она ошиблась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами до́лжно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше, образованны, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что́ было еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества и что ее красота сделала на

него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку. «Нет,— сказал мне Сеникур,— княжна видит во мне врага России и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

«Москва взята»,— сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы,— продолжала она голосом, дрожащим от негодования,— ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву — Москва горит уже два дни».— «Что вы говорите,— закричал Сеникур,— не может быть».— «Дождитесь ночи,— отвечала она сухо,— может быть, увидите зарево».— «Боже мой! Он погиб,— сказал Сеникур; — как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь все решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором...»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели,— сказала она,— Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновенным,— твой брат... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...

1831

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою

очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместие, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осмотривал его, по крайней мере, уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат,— спросил его Кирила Петрович,— или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет,— отвечал он сурово,— псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье,— сказал он,— благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать,

Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский».

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью: «Как,— загремел Троекуров, вскочив с постели босой,— высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностию, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское — Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через мину-

ту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом,— и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как, бишь, тебя зовут,— сказал ему Троекуров,— зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство,— отвечал Шабашкин,— и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как, бишь, тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть,— сказал Троекуров,— мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение,— как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

— Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны, Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела,— Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения оного

по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него, и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях — Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке — настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введен был во владение и учинен за него отказ.— А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных

селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке,** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованный в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение,** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу,— ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно.— Упомянутый же по сему делу прежний покупщик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной

никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия ...дня, совершенно уничтожается.— А сверх сего —

велено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить.— К рассмотрению какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде о п р е д е л е н о:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней ...ревизии всего мужеска пола ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается.— Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18... года и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение,** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов.— Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется доправямо, тогда правому отдавать тую землю, и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением,

а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него

оказаʼься может всё без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство,— продолжал он,— псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая

за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич,— я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое — а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тэбе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы, дескать, ихние, а мы искони Ваши,— и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был

привезен в Петербург на восьмом году своего возраста — со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске — закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до́ земи, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами — и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд — хотя почасту́ он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не

ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита-кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей — Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем.— При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилось; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были по-

сажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня,— повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху,— что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели,— говорила ему Егоровна,— на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

ГЛАВА IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел запяться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения — у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту са́мого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился

к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретенным имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости,— и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противуположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа — и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания — паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас»,— сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! — Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш,— сказала она пискливым голосом,— погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас».— «Молчи, няня,— сказал с сердцем Владимир,— сейчас пошли Антона в город за лекарем». Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо — и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь — не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение,— вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

ГЛАВА V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился — но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые — принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали,

поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, повидимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет — то будет,— сказала попадья,— а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином,— прервала Егоровна.— Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: «Вон, старый пес! долой со двора!»

— Ахти, Егоровна,— сказал дьячок,— да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

— Суета сует,— сказал священник,— и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте,— он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия.

Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки — в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо,— говорил поп попадье,— нéчего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось.— Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа — крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу.— Это кто такие, и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич,— отвечал старик задыхаясь.— Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш,— кричали они, целуя ему руки,— не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно,— сказал он им,— а я с приказными переговорю».— «Переговори, батюшка,— закричали ему из толпы,— да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать,

что это значит»,— спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. «А это то значит,— отвечал замысловатый чиновник,— что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову».— «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...» — «А ты кто такой,— сказал Шабашкин с дерзким взором.— Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

— Владимир Андреевич наш молодой барин,— сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть,— сказал грозно исправник,— какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров — слышите ли, олухи.

— Как не так,— сказал тот же голос.

— Да это бунт! — кричал исправник.— Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть,— закричали дворовые,— ребята! долой их!» — и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать»,— закричал тот же голос,— и толпа стала напирать... «Стойте,— крикнул Дубровский.— Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся — двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили,— продолжал заседатель,— с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

— Делайте что хотите,— отвечал им сухо Дубровский,— я здесь уже не хозяин.— С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI

«Итак, все кончено,— сказал он сам себе,— еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства,— подумал Владимир,— он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальной, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, запялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены.* С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время Турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю — двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу,— ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол — топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» — спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы,— отвечал Архип пошепту,— господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома,— тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники,— того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело,— подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип,— сказал он, немного помолчав,— не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка,— отвечал тонкий голос,— Василиса да Лукерья».— «Подите по дворам,— сказал им Дубровский,— вас не нужно».— «Шабаш»,— промолвил Архип. «Спасибо, кормилец»,— отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их. «До сна ли нам,— отвечал Антон.— До чего мы дожили, кто бы подумал...»

— Тише! — перервал Дубровский,— где Егоровна?

— В барском доме в своей светелке,— отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский,— не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих,— отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы,— сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

— Постой,— сказал он Архипу,— кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти,— жалобно закричала Егоровна,— Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи,— сказал Дубровский.— Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец,— отвечали люди,— умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите».— «Как не так»,— сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка,— говорила ему Егоровна,— спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

— Как не так,— отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь все ладно,— сказал Архип,— каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть,— со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетеся, бесенята,— сказал им сердито кузнец.— Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь»,— и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте,— сказал он смущенной дворне,— мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

ГЛАВА VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали

ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое, видимо, имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан

был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностию и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович все это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть — принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо,— сказал Кирила Петрович,— не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на m-r Деформа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым ча-

сам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился, Деформ вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Деформа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе,— отвечал Деформ,— но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел

вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

ТОМ ВТОРОЙ

ГЛАВА IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего.*

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поми-

путно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушание поставлено»,— и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутьич»,— отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда,— закричал Кирила Петрович,— милости просим, Антон Пафнутьич, садись да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен и покушать любишь».— «Виноват,— отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана,— виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастию, недалеко было до деревни; пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

— Эге! — прервал Кирила Петрович,— да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские вла-

деют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье,— заметил Кирила Петрович,— я чай, красная шкатулочка полным-полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы все изволите шутить, батюшка Кирила Петрович,— пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич,— а мы, ей-богу, разорились,— и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да, правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство,— отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность,— сказал Кирила Петрович,— а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича — кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович,— пропищал толстый дамский голос,— в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот

и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно,— сказал он,— я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал».— «Коли так,— отвечал генерал,— так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же,— продолжал генерал,— рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».— «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги».— «Ну».— «Я отдал ему письмо и деньги».— «А он?.. Ну — а он?» — «Батюшка, виноват».— «Ну, что ж он сделал?..» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом — отдай это на почту».— «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват».— «Я с тобою, голубчик, управлюсь,— сказал грозно генерал,— а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучерá привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с

собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский,— спросил Кирила Петрович.— Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж, верно, не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех.

— Точно так, ваше превосходительство,— провозгласил исправник,— у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

— А! — сказал Кирила Петрович,— кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

— «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые:* таковых не оказалось».

— И только,— сказал Кирила Петрович.

— Только,— отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет,— продолжал Кирила Петрович,— уж не видать нам

такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович,— сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить,— отвечал Кирила Петрович.— Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель,— Кирила Петрович указывал на Деформа,— выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить,— сказал Антон Пафнутьич, почесываясь,— очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Деформа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол — все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

ГЛАВА X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал

более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали,— словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Деформа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением:

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

— Que désire monsieur? [1] — спросил Деформ, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше [2], понимаешь ли?

— Monsieur, très volontiers,— отвечал Деформ,— veuillez donner des ordres en conséquence [3].

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

---

[1] Чего изволите? *(франц.)*

[2] Я хочу спать у вас *(франц.)*.

[3] Сделайте одолжение, сударь... извольте соответственно распорядиться *(франц.)*.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Деформ освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Деформу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения — француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше [1],— закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад.— Я не могу дормир [2] в потемках.— Деформ не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман,— проворчал Спицын, закутываясь в одеяло.— Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня.— Мусье, мусье,— продолжал он,— же ве авек ву парле [3].— Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз,— подумал Антон Пафнутьич,— а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал — усталость и винные пары малопомалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Деформа; француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се [4],— произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать,— отвечал учитель чистым русским языком,— молчать или вы пропали. Я Дубровский.

---

[1] Зачем вы *тушите,* зачем вы *тушите? (франц.)*

[2] спать *(франц.).*

[3] я хочу с вами говорить *(франц.).*

[4] Что это, сударь, что это *(франц.).*

ГЛАВА XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот бог послал свистуна,— говорила она вполголоса,— эк посвистывает,— чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель,— что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга.— А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас, что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

— Подождет, Пахомовна, на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю,— вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей,— сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас,— отвечал смотритель.— Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает,— отвечала смотрительша,— какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город,— отвечал француз,— оттуда отправля-

юсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К господину Троекурову,— отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier...[1] я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости — и тогда bonsoir[2], еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто,— отвечал учитель,— меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

Офицер задумался.

— Послушайте,— прервал офицер,— что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы,— сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас,— отвечал офицер,— выдьте вон на минуту.— Смотритель и слуга вышли.— Я не шучу,— продолжал он по-французски,— десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.— При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

---

[1] Право, господин офицер... *(франц.)*

[2] прощайте *(франц.)*.

— Мое отсутствие... мои бумаги,— повторял он с изумлением.— Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш пашпорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте...

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное мое слово,— отвечал француз.— Но мои бумаги, что мне делать без них.

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы — зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и несмотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну — особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, припяла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами — в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки;

тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас,— сказал он ей тихим и печальным голосом,— что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен вас оставить,— сказал он наконец,— вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете,— продолжал он, потупя голову,— я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству — в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист — и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите,— сказал Дубровский,— меня зовут, минута может погубить меня.— Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь,— сказал он ей нежным и трогательным голосом,— если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего — для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский.— Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа — обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь,— прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша,— спросил Кирила Петрович,— не встретила ли ты m-r Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази,— продолжал Кирила Петрович,— исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство,— сказал почтительно исправник.

— Эх, братец,— прервал Кирила Петрович,— убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застращал его, ваше превосходительство,— отвечал исправник,— и взял с него клятву молчать...

— Вранье,— решил Кирила Петрович,— сейчас я все выведу на чистую воду.— Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с,— отвечал слуга.

— Так сыскать его,— закричал Троекуров, начинающий сумневаться.— Покажи мне твои хваленые приметы,— сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.— Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с,— был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша,— заметил ей отец,— тебя перепугали.

— Нет, папенька,— отвечала Маша,— у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.— Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, наспу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой,— продолжал он, обратясь к гостям.— Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно

скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он, по обыкновению своему, стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому,— повторил Верейский,— как, этому славному разбойнику?

— Отцу его,— отвечал Троекуров,— да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров,— она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки.— Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать

свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной — и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте

разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais [1] князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша,— сказал Кирила Петрович,— скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна,— сказал Кирила Петрович,— но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла,— сказал Кирила Петрович,— осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке,— продолжал он, обратясь к Верейскому,— это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

---

[1] все расходы *(франц.)*.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее, как плаха, как могила... «Нет, нет,— повторяла она в отчаянии,— лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

ГЛАВА XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я все знаю,— сказал он ей тихим и печальным голосом.— Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство,— отвечала Маша,— но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите — я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною — я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался — Маша плакала...

— Бедная, бедная моя участь,— сказал он, горько вздохнув.— За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того — по чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора»,— сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне,— сказал он,— то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства — Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать — и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не

имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька,— закричала она жалобным голосом,— папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

— Это что значит,— сказал грозно Кирила Петрович,— до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня,— повторяла бедная Маша,— за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша,— боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уж вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров,— угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский,— отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро,— сказал он ей после некоторого молчания,— жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы.— С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу — голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело — и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша,— сказала она,— зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать — и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кирпловне, как вдруг рыжий и косой, оборованный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе како дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц,— кричал Саша,— или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры — сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах, ты, рыжая бестия,— говорил садовник,— да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки,— сказал он,— а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так,— отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног, садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— Погоди, барин,— сказал Степан,— мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса,— сказал он, обратясь к Саше,— за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

— Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и.. этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

— Я дворовый человек господ Дубровских,— отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро,— отвечал он.— А что ты делал в моем саду?

— Малину крал,— отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,— сказал Саша.

— Молчи, Александр,— отвечал Кирила Петрович,— не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комна-

ту. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро,— сказал Кирила Петрович,— запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником,— сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами,— да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы».— Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть,— сказал ему Кирила Петрович,— я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство,— сказал исправник с видом обрадованным,— где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине,— сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел,— сказал ему исправник,— посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина,— сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой,— сказал ему Кирила Петрович,— да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба,— сказал мальчик,— я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок,— отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед,— проворчала старуха,— на, вот тебе ломотик,— и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сию минуту,— отвечала дама.— Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова,— сказала дама Кирилу Петровичу,— прикажите садиться в карету.

— С богом,— отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ,— подойди ко мне, Маша,— сказал он ей тронутым голосом,— благословляю тебя...— Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька...— говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать — и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих англинских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите».— «Что это значит,— закричал князь,— кто ты такой?..» — «Это Дубровский»,— сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного

разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны,— продолжал Дубровский, обращаясь к бедной княгине.

— Нет,— отвечала она.— Поздно — я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите,— закричал с отчаяния Дубровский,— нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

— Я согласилась, я дала клятву,— возразила она с твердостию,— князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмещение за кровь своего атамана.

ГЛАВА XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка,— сказала она сердито,— барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости».— «Виноват, Егоровна,— отвечал Степка,— ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич,— закричал он,— наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных»,— отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу,— отвечали они,— нас окружают». Дубровский велел запереть вороты — и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою»,— сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в

них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после [1] он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

1833

[1] Далее пропуск в рукописи.

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера,— отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,— сказал Германн,— но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский.— А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть,— продолжал Томский,— каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного,— сказал Нарумов,— что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite; [1] Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником.— Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наруж-

[1] московскую Венеру *(франц.)*.

ность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он,— но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».— «Но, любезный граф,— отвечала бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».— «Деньги тут не нужны,— возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал:

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine [1]. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю,— отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, черта с два! — отвечал Томский,— у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится, Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их

[1] на карточную игру у королевы *(франц.)*.

одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе,— отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches [1].

Светский разговор

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman [2],— сказал, вошедши, молодой офицер.— Bon jour, mademoiselle Lise [3]. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul? [4]

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как постарела? — отвечал рассеянно Томский,— она лет семь как умерла.

---

[1] Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.— Что делать? Они свежее *(франц.)*.

[2] бабушка *(франц.)*.

[3] Здравствуйте, Лиза *(франц.)*.

[4] Поль *(франц.)*.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она,— а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul,— сказала она потом,— теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов,— пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,— сказала она,— карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня.— Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,— сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня.— Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,— сказала она,— что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова,— сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня,— всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня.— Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня.— Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она

весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-à-vis [1], и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя,— с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,— однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,— и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

---

[1] пары *(Франц.)*.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,— подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее,*— а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если,— думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,— что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю,— через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то

стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***,— отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

> Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire [1].
>
> *Переписка*

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя

[1] Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать *(франц.)*.

нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо,— и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена,— писала она,— что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,— сказала она,— эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.— Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному.— Это писано, верно, не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель,— я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания,— вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,— и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у *** ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,— и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он по-

дошел к фонарю, взглянул на часы,— было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два потрета, писанные в Париже m-me Lebrun [1]. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy [2], коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать,— все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра,— и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

---

[1] госпожой Лебрен *(франц.)*.
[2] Леруа *(франц.)*.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли: смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом.— Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете,— продолжал Германн,— составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка,— сказала она наконец,— клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,— возразил сердито Германн.— Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,— продолжал Германн,— назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские уси-

лия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь,— сказал он,— сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,— всем, что ни есть святого в жизни,— не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго,— я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,— так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,— сказал Германн, взяв ее руку.— Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18 **. Homme sans mœurs et sans religion! [1]

Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу,— сказала, что разденется сама, и с трепетом

[1] 7 мая 18 **. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! *(франц.)*

вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она смеясь.

— От приятеля известной вам особы,— отвечал Томский,— человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги похолодели...

— Этот Германн,— продолжал Томский,— лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн,— или как, бишь, его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть,— на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret? [1] — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

---

[1] забвение или сожаление? *(франц.)*

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини,— отвечал Германн,— я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,— продолжал Германн,— я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги,— вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,— отвечал Германн,— пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он

портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна.— Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal [1], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

> В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В ***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»
>
> *Шведенборг*

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь

[1] королевской птицей *(франц.)*.

толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,— дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation [1]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли,— и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Oh?»

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

---

[1] притворством *(франц.)*.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко,— и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,— и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,— сказала она твердым голосом,— но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян, по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

— *Ата́нде!*
— Как вы смели мне сказать *ата́нде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *ата́нде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела пе-

ред ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну,— воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.

Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,— сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет,— извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,— отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, все глаза устремились на Германна. «Он с ума сошел!» — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,— сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою,— что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн,— бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,— сказал он,— что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский

стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита,— сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

1833

КИРДЖАЛИ

ПОВЕСТЬ

Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: «Кирджали! Кирджали!» Все селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть, и молдаван,— и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи большею частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе семьсот человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненный накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Все было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они все же были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка все же еще надета была набекрень, а атаганы и пистолеты все еще торчали из-за широких поясов. Никто из них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки

были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал и на основании мирных договоров потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины и признался, что он Кирджали. «Но,— прибавил он,— с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, по-видимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться,— и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: «Гайда!» Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.

— Что это говорил вам Кирджали? — спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня,— отвечал, смеясь, полицейский,— чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне,— он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уже спустя встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали? — спросил я,— не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать,— отвечал он и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его и с жадностью, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь.

Однажды Кирджали сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».

Турки развесили уши.

— Братья,— продолжал Кирджали,— три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с *гальбинами*. Видно, ни мне, ни ему не владеть этим котлом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь».

Турки распорядились. Четверо вынули своп атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень и стал смотреть на их работу.

— Ну что? скоро ли? — спрашивал он,— дорылись ли?

— Нет еще,— отвечали турки и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ,— говорил он.— И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались и стали советоваться.

— Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро.— И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал проворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *левов* и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?

1834

ГЛАВА I

— Quel est cet homme?
— Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.
— Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte [1].

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастие писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее *пользы и удовольствия.* Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого

[1] Что это за человек? — О, это большой талант; из своего голоса он делает все, что захочет.— Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны *(франц.).*

ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был

душою в сладостное забвение... и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— Кто там? — спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел.

Он был высокого росту — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком.

— Что вам надобно? — спросил его Чарский на французском языке.

— Signor,— отвечал иностранец с низкими поклонами,— Lei voglia perdonarmi se... [1]

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.

— Я неаполитанский художник,— говорил незнакомый,— обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете? — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

---

[1] Синьор... простите меня, пожалуйста, если... *(итал.)*

— Signor,— отвечал он запинаясь...— ho creduto... ho sentito... la vostra Eccelenza mi perdonera... [1]

— Что вам угодно? — повторил сухо Чарский.

— Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту,— отвечал итальянец,— и потому осмелился к вам явиться...

— Вы ошибаетесь, Signor,— прервал его Чарский.— Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto [2]. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках,— поразили его. Он понял, что между падменным dandy [3], стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда ж вы? — сказал он итальянцу.— Постойте... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, Eccelenza! [4] — отвечал итальянец,— я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения.— Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? — и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

---

[1] Синьор... я думал... я считал... ваше сиятельство, простите меня... *(итал.)*

[2] либретто *(итал.)*.

[3] дэнди, щеголь *(англ.)*.

[4] ваше сиятельство *(итал.)*.

Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь,— сказал он бедному художнику,— что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное — чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка,— сказал, призадумавшись, импровизатор,— кто ж поедет меня слушать?

— Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

ГЛАВА II

Я царь, я раб, я червь, я бог.
Державин

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.

— Победа! — сказал ему Чарский,— ваше дело в шляпе. Княгиня ** дает вам свою залу; вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш...

— А это главное! — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе.— Я знал, что вы мне поможете. Corpo di Bacco! [1] Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт,

[1] Черт возьми! *(итал.)*

вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема,— сказал ему Чарский: — *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идет: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.

Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

Итальянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что? — спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что? — спросил импровизатор,— каково?

— Удивительно,— отвечал поэт.— Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякой талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani [1] брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

---

[1] госпожа Каталани *(итал.)*.

ГЛАВА III

Цена за билет 10 рублей;
начало в 7 часов.

Афишка

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетилися, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда». Все уселось и примолкло, последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приближился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк... Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил

свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками; им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностию написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух:

Семейство Ченчи.
(La famiglia dei Cenci.)
L'ultimo giorno di Pompeïa.
Cleopatra e i suoi amanti.
La primavera veduta da una prigione.
Il trionfo di Tasso [1].

— Что прикажет почтенная публика? — спросил смиренный итальянец,— назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!.. — сказал один голос из толпы.

— Жребий, жребий! — повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил:—Кому угодно будет вынуть тему?—Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице,

[1] Семейство Ченчи.— Последний день Помпеи.— Клеопатра и ее любовники.— Весна, видимая из темницы.— Триумф Тассо *(итал.)*.

сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочитать,— сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

— Господа,— сказал он, обратясь к публике,— жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto... [1]

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать,— продолжал он,— на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;

[1] потому что у великой царицы было много... *(итал.)*

Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет,
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
— В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Впемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? —

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,

Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура...
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.

— Клянусь...— о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.

1835

Береги честь смолоду.
Пословица

ГЛАВА I
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии послужит.
— Изрядно сказано! пускай его потужит...
. . . . . .
Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу,— ворчал он про себя,— кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel [1], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки,* т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам,* но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,— и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

---

[1] чтобы стать учителем *(франц.).*

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,— отвечала матушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро,— прервал батюшка,— пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович,— сказала матушка,— поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смóлоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в

виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом,— где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь,— ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич,— сказал он мне, качая головою,— рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком пастойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам
Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель,* приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен»,— отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление,— да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич,— произнес он

дрожащим голосом,— не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать,— прервал я строго,— подавай сюда деньги, или я тебя взашеи прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

ГЛАВА II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом.— Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом па восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка,— невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться,— говорил он сердито,— воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался

сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я,— смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин,— сказал он, садясь на свое место,— воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик.— Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе,— отвечал дорожный,— да что толку?

— Послушай, мужичок,— сказал я ему,— знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая,— отвечал дорожный,— слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится; тогда пайдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием.— Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.— Ямщик казался мне прав: «В самом деле,— сказал я,— почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул,— отвечал дорожный,— и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда сосбражаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку пре-

даваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,— говорит она мне,— отец болен, при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша,— отвечала мне матушка,— это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; компата наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил, я протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие»,—отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,— прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,— сказал он,— опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор.— Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя,— возразил мой бродяга,— будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, потамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться за печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с

хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он,— за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо,— сказал я хладнокровно,— если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич.— Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль,— сказал мой бродяга,— пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом.— Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать,— сказал я своему дядьке,— сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич.— Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел

мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он.— Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,— отвечал я ему с видом как можно более невинным,— обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... пет, видно сшовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,— сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт,— все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миропова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе печего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня.

«Час от часу не легче! — подумал я про себя,— к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

ГЛАВА III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече,— отвечал он.— Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она»,— отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка,— отвечал инвалид,— наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф

с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет,— сказала она,— он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить,— сказал он,— вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить,— продолжал он,— зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки»,— продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки,— сказала ему капитанша,— ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка,— продолжала она, обращаясь ко мне,— не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша.— Отведи господину офицеру квартиру, да почище».— «Слушаю, Василиса Егоровна,— отвечал урядник.— Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч,— сказала капитанша,— у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо,— отвечал казак,— только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку.— Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня, я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня,— сказал он мне по-французски,— что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь,— прибавил он,— нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша.— Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка! — сказала ему жена.— Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься».— «А слышь ты, Василиса Егоровна,— отвечал Иван Кузмич,— я был занят службой: солдатушек учил».— «И, полно! — возразила капитанша.— Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она,— ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал,— сказал я довольно некстати,— что на вашу крепость собираются напасть башкирцы».— «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге»,— отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант.— У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню».— «И вам не страшно,— продолжал я, обращаясь к капитанше,— оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка,— отвечала она.— Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало,

рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама,— заметил важно Швабрин.— Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты,— сказал Иван Кузмич,— баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я,— так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать.— Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

ГЛАВА IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих

солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому,— отвечал он,— что такие стихи достойны учителя

моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим,— сказал он,— сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело,— отвечал я нахмурясь,— кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня,— но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому,— отвечал он с адской усмешкою,— что знаю по опыту ее прав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве,— ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице.

— Это тебе так не пройдет,— сказал он, стиснув мне руку.— Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня,— добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить,— сказал он мне,— что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно,— сказал Иван Игнатьич,— делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша,— сказал он.— Коли уже мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу, не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты,— сказал он мне сухо,— без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так,— сказал он мне с довольным видом,— худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты,— я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич,— сказал он,— одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился: но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,— сказал он мне,— надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чу-

лан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам,— сказал он ей хладнокровно,— не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».— «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша,— да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было,— сказал я ему сердито,— доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил,— отвечал он,— Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может»,— сказал я ему. «Конечно,— отвечал Швабрин,— вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла,— сказала она,— когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется,— сказала она,— я думаю, что правлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин,— за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

ГЛАВА V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении,— отвечал Савельич со вздохом,— все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу,— отвечал я слабым голосом.— Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он.— Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич,— сказала она.— Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме у коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,— сказал я ей,—

будь моею женою, согласись на мое счастие». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь,— сказала она, отняв у меня свою руку.— Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько,— прибавила она,— со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостью молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое

не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой *А. Г.*»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь,— сказал он, чуть не зарыдав,— что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от

шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я.— Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами.— Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил,— повторял он,— вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня.— Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что́ нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку,— ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со време-

нем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич,— отвечала Маша,— я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь,— сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги,— посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш
Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном

Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо лупы. Пришли меня звать от имени комепданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу.— Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабрипым, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает,— отвечал он,— посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень

уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником».— «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша.— За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что́ бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша,— уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич.— Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость припята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна,— сказал он ей покашливая.— Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич,— перервала комендантша,— ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве;

да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка,— сказал он,— коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе».— «То-то, батько мой,— отвечала она,— не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша.— Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы,— отвечал Иван Кузмич.— А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен,— заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу,— сказал комендант.— Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич,— сказала комендантша, вставая с места.— Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения,— мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и,

сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году.— Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Чтó же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич,— али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши,— сказал комендант,— ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся,— тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну,— сказал комендант,— видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна.— Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас

оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту.— Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша.— Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка,— возразил Иван Кузмич,— оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда...— Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна,— продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни.— Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро,— сказала комендантша,— так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело,— сказал комендант.— Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны,— отвечала комендантша.— Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами.— Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой,— сказал я,— прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

ГЛАВА VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне

явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?— сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.— Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел».— «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом.— «Не успела,— отвечал Иван Игнатьич,— дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну что? — сказала комендантша.— Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече,— отвечал Иван Кузмич.— Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька,— отвечала Марья Ивановна,— дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной

саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич.— Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант.— Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы,— сказала, заплакав, комендантша.— Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху.— Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко,— сказал комендант,— будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была

картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята,— сказал комендант,— теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич.— Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай,— сказал ему Пугачев,— государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь,— отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана.— Ты, дядюшка, вор и самозванец».

Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось»,— повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька.— Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»,— говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня.— Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную

посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка.— Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении.— Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками.— Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо,— что Марья Ивановна?

— Барышня жива,— отвечала Палаша.— Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом.— Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою,— отвечала попадья.— Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя».— «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь».— «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу».— У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать.— «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости».— «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то.— В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась.— Ступайте себе домой, Петр Андреич,— сказала она,— теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня.— Я было думал, что злодеи опять

тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках.— Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что́ мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе».— «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском,— отвечал казак.— После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а па́рится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгорячепные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня.— Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы,— сказал Пугачев,— затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,

А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне.— Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват,— продолжал он,— но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня пахмурясь.— Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою.

Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь,— сказал он,— чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет,— отвечал я с твердостию.— Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу,— сказал он,— так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я.— Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть,— сказал он, ударя меня по плечу.— Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись.— Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

ГЛАВА IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай,— сказал он мне.— Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: — Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть»,— отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?— сказал он наконец.— Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух»,— сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

— «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее,— отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

— «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев.— Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился,— отвечал Савельич.— Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай,— сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

— «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу.— Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь,— отвечал Савельич,— а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотил-

ся и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь,— отвечал Савельич,— смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте,— говорила мне попадья, провожая меня,— прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего

плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще,— примолвил, запинаясь, урядник,— жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь.— Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина».— «Добро,— сказал я, прерывая спор.— Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку».— «Очень благодарен, ваше благородие,— отвечал он, поворачивая свою лошадь,— вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,— сказал старик,— что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

ГЛАВА X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою пе-

чальную повесть.— Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал.— Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим,— сказал он.— Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа,— продолжал он,— надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне.— Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко

мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал.— Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда,— прервал таможенный директор,— будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем,— отвечал генерал.— Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои,— продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму,— я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с боль-

шинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч,— сказал я ему.— Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною,— отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.— Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить.— Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ни-

чего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство,— сказал я ему,— прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик.— Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех,— отвечал я с жаром.— Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек,— сказал он, качая головою.— На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова,— сказал я ему,— пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm [1], и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя.— А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал.— Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть,— сказал я в бешенстве,— нежели уступить ее Швабрину!

---

[1] плут *(нем.)*.

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик.— Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

ГЛАВА XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

> В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
> «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
> Спросил он ласково.
>
> *А. Сумароков*

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на́все денег? «Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать,— отвечал я старику.— Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич.— Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не по-

кину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; по по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною поздали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами; это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка,— прибавил он,— волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету

божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец,— сказал один из мужиков,— сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича: старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию.— Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них,— сказал мне Пугачев,— от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так не-

чаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он.— Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый,— отвечал я.— Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина,— сказал грозно Пугачев.— Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить,— сказал Хлопуша хриплым голосом.— Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте.— Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая.— Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро,— сказал Пугачев.— Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу,— отвечал я,— все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев.— А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь,— подхватил старичок,— что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч,— сказал он ему.— Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов.— У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,— отвечал Хлопуша,— и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша.— Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев.— Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен,— сказал он, мигая и прищуриваясь.— Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев.— Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что́ происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый,— и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька.— Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев.— Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич, усаживаясь.— Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что́ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что́ станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься,— отвечал я ему.— Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев.— Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец.— Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился,— прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,— помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да, говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом.— Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок ера-

ралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему,— управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву.— Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

— Нет,— отвечал он,— поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай,— сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой крови, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива,— отвечал я ему.— Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

ГЛАВА XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь,— сказал он дрожащим голосом...— Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней,— сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он.— Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев.— Это мое дело. А ты,— продолжал он, обращаясь к Швабрину,— не умничай и не ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она.— Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему.— Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз,— сказал он Швабрину,— но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и ста-

ла ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев.— Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении.— Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду,— отвечал я с твердостию.

— Ты мне этого не сказал,— заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди,— отвечал я ему,— можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда,— сказал, смеясь, Пугачев.— Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай,— продолжал я, видя его доброе расположение.— Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он.— Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич,

Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич,— говорила попадья.— Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то».— «Полно, старуха,— прервал отец Герасим.— Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна.— Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась; известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отече-

ство. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец.— Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья.— Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

ГЛАВА XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в комендантy, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр.— Вот уже тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве.— Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие,— отвечал вахмистр.— Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я.— Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну,— продолжал Зурин,— так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину.— Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капи-

танскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему.— Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного.

— Жениться! — повторил он.— Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся,— отвечал я,— когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он.— Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Иваповна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с

Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом.— Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу [1].

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

---

[1] К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе.

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою,— зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность,— отвечал он, подавая мне бумагу.— Прочитай, что́ сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин.— Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо́, и я поехал по большой дороге.

ГЛАВА XIV

СУД

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться, по крайней мере, весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые степы без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за́ ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни

были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер,— сказал он мне нахмурясь,— но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом,— возразил мой допросчик,— дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или, по крайней мере, на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль

впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,— как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя.— Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна,

тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она.— Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом.— Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался, по крайней мере, мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером,— словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась.

В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота; вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня,— сказала она голосом еще более ласковым,— если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось,— и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом.— Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня.— Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она.— Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились на́стежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколь-

ко минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты,— сказала она,— но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель

19 окт. 1836

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже, в прошлом 1834 году под названием: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français [1]. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poète distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été témoin non le sujet d'un poème, mais celui d'une satyre [2].

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armée du Prince Paskewitch) on distinguait le Général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze... le Prince Arménien Beboutof... le Prince Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin — M-r Pouchkine... qui avait quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes [3].

---

[1] Путешествия на Восток, предпринятые по поручению французского правительства *(франц.)*.

[2] Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для сатиры *(франц.)*.

[3] Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича), выделялись генерал Муравьев... грузинский князь Чичевадзе... армянский князь Бебутов... князь Потемкин, генерал Раевский и, наконец, г. Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников *(франц.)*.

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, все это, увенчанное полным успехом, может быть и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток); но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково приявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *все*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд через снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно

профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра па Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он,— говорил Ермолов,— на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле,— и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки»,— сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore [1]. Немцам досталось. «Лет через пятьдесят,— сказал он,— подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами». Я пробыл у него часа два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

---

[1] с увлечением *(итал.)*.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет бо́льшую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — ***.— «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь».— «Что ты шьешь?» — «Портка».— «Кому?» — «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на степах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрипел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине между кур-

ганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирных* черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирно́го черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отре-

зав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана,* между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лепости в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке...

...like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him; [1]

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами.* В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум

[1] ...подобно отдыхающему воину в его боевом плаще *(англ.).*

и увидели Терек, разливающийся по разным паправлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем у́же становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волпами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, воспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мпе предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то за́мка: они облеплены саклями мирны́х осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, воспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу!

Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба

как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек переехали мы через *Бешеную балку,* овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, *подпирающую небосклон.*

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили

узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.». Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе* [1] и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

---

[1] Так называются персидские шапки.

В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал»,— сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул; он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,— и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиляева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полверсте от Апанура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня *абаз*.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых,— стакана вина, в-третьих,— абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberté grande [1]. К счастию, нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

---

[1] за такую великую вольность *(франц.)*.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем,— сказал мне хозяин,— сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда».— «Конечно не беда,— отвечал я ему,— напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою;* ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis'brooks.

Lalla Rookh [1].

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть

---

[1] прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлисских ключей. *Лалла Рук (англ.).*

мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, *e sempre bene* [1].) После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! №: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель «Тифлисских ведомостей», рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастия! от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

---

[1] и отлично *(итал.)*.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росою! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах,* огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под сорок первым градусом широты. Самое его название *(Тбилискалар)* значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился

на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Человек мой со выючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана».— «Что вы везете?» — *«Грибоеда»*. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux» [1]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалом персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в по-

[1] Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей *(франц.)*.

дозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога все была одна и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. «Что нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума,— отвечал он,— а что слыхать об Ахалцыке?» — «В Ахалцыке чума»,— отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни,— и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай»,— сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, ски-

таясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру падеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек,* армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в двадцати верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зо́рю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу; это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые

холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

ГЛАВА ТРЕТИЯ

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как все прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

Heu! fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni...[1]

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между

[1] Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы... *(лат.)*

собою: «Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят». В самом деле местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали па высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes...[1]

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валит, ваше благородие»,— отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненного в тот же день в другом сражении.

[1] ...и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом... *(лат.)*

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая басня; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. №: во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами: полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. «Что такое левый фланг?» — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы.

Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими погами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере, ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот

день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сражение с Гаки-пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие плешники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. «Êtes-vous fatigué de la journée d'hier?»— «Mais un peu, m. le Comte».— «J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes» [1].

Мы тронулись и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую тра-

[1] Вы не устали после вчерашнего? — Немножко, г. граф.— Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать *(франц.)*.

ву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. По́д деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me [1]. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству

[1] Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен.— Бог, отвечал он, кастрировал меня *(лат.)*.

путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбрав-

шись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не переставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турец-

кая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; «Voyez les Turcs,— сказал он мне,— on ne peut jamais se fier à eux» [1]. В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: «Полно им дурачиться». Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Раевский поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Християн! Християн!..» Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество,— лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и меж-

[1] Смотрите, каковы турки... никогда нельзя им доверяться *(франц.)*.

ду тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются».

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre[1]) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих.

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы.

[1] бурдюком *(франц.)*.

В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-Лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли... Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят,
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. Абрамовичу съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли

им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом,— на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича,— но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику, и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А. был неколебим. «Вы боитесь своего паши,— сказал он им,— а я своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний». Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: «Это мать паши,— сказал он,— а я прислан к женам, приведите одну из них»; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она,— из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни

одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец, розою любви — по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного: он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед

блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-Лу и едва мог узпать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешепая Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разрабатывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с бо́льшим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

1836

ПРИМЕЧАНИЯ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Пушкин работал над своим романом в стихах (на первых порах он называл его и поэмой), вперемежку с созданием других произведений разнообразных жанров, почти восемь с половиной лет (1823—1831). Роман печатался отдельными книжками-главами по мере их написания.

На следующий же день после окончания девятой (ставшей впоследствии восьмой) главы, 26 сентября, был составлен план-оглавление всего романа в девяти главах с разбивкой его на три части, по три главы в каждой, с заглавием каждой главы и указанием времени и места ее написания. В первую часть вошли главы: Хандра, Поэт, Барышня; во вторую: Деревня, Именины, Поединок; в третью: Москва, Странствие, Большой свет; в конце должны были идти Примечания и следовала помета (общий подсчет времени работы): «1823 год 9 мая Кишинев — 1830, 25 сентября Болдино... 7 лет 4 месяца 17 дней». Однако работа над «Евгением Онегиным» не кончилась.

Сперва Пушкин предполагал издать вместе восьмую и девятую главы и в ноябре 1830 г. написал к ним предисловие. Но ни эти главы, ни вообще роман в девяти главах по политическим и цензурным условиям напечатать не удалось. Об этом стало известно из опубликованного только в советское время сообщения П. А. Катенина первому биографу поэта П. В. Анненкову: «Об восьмой главе «Онегина» слышал я от покойного в 1832 году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую». О крайней резкости строф о военных поселениях свидетельствует то, что никаких следов их не обнаружено: видимо, даже оставлять их в рукописи было небезопасно, и они были начисто уничтожены поэтом. Вынужденное изъятие из романа целой главы, естественно, нарушало не только классически стройную его композицию,

но и фабульное движение и развитие. Пушкин сделал это изъятие, в сущности, незаметным для читателя, сумел сообщить роману новую целостность и гармоническое единство. Но это потребовало немалой дополнительной работы над заключительной (девятой, а теперь ставшей восьмой) главой, которая осуществлялась в течение 1831 г.; в частности, 5 октября было написано ранее отсутствовавшее письмо Онегина к Татьяне. Полностью (в составе восьми глав) роман в стихах был опубликован в 1833 г.; второе издание вышло перед самой смертью поэта, в 1837 г. При печатании Пушкин по разным соображениям, главным образом политического порядка, пропустил ряд строф, обозначив их место соответствующими порядковыми цифрами. Учитывая чрезвычайно тяжелые цензурные условия, он, помимо исключения первоначальной восьмой главы, вынужден был переделать некоторые строфы, отдельные стихи и в других главах.

Стихотворное посвящение («Не мысля гордый свет забавить...»), обращенное к П. А. Плетневу, который систематически помогал Пушкину в издании его сочинений, в том числе и «Евгения Онегина», сперва было помещено в отдельном издании четвертой и пятой глав. В приложении были даны «Отрывки из путешествия Онегина».

Цензурно-политические условия оказали роковое влияние не только на написанный текст «Евгения Онегина», но и на весь первоначально гораздо более широкий замысел романа. Адъютант Н. Н. Раевского, М. В. Юзефович (1802—1889), встречавшийся с Пушкиным в действующей армии в 1829 г., рассказывает в своих воспоминаниях: «Он объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Видимо, сразу же после болдинской записи плана-оглавления романа в девяти главах Пушкин начал набрасывать строфы десятой главы «Евгения Онегина», в которой, как в «Полтаве», частная жизнь героев романа выводилась на широкую историческую арену. До нас дошел текст только начальных строк (больше всего четверостиший) первых четырнадцати строф, ввиду их крайней политической остроты тщательно зашифрованных Пушкиным, и недоработанный черновой текст XV, XVI и XVII строф. В этих семнадцати строфах речь идет о войне 1812 г., национально-освободительных движениях в Европе, разгуле реакции, возникновении в России тайных политических обществ и подготовке восстания декабристов.

Меньше чем через месяц после начала работы над десятой главой Пушкин записал: «19 октября сожжена 10-я песнь».

Г л а в а п е р в а я (стр. 29). Написана в 1823 г., вышла в свет в феврале 1825 г. с посвящением брату поэта Л. С. Пушкину. После предисловия был напечатан «Разговор книгопродавца с поэтом», впоследствии перемещенный в собрание стихотворений.

Эпиграф — из стихотворения П. А. Вяземского (1792—1878) «Первый снег» (1819).

Строфа I. *Мой дядя самых честных правил...* — иронически переиначенная строка из басни Крылова «Осел и мужик» — «Осел был самых честных правил».

Строфа III. *Отлично благородно* — традиционная формула служебных аттестатов.

Строфа VI. *«Энеида»* — эпическая поэма римского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.).

Строфа VII. *Адам Смит* (1723—1790) — английский буржуазный экономист XVIII в., считавший, что деньги (золото) — мертвый капитал.

Строфа VIII. *Назон* — римский поэт Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.— ок. 18 г. н. э.), автор поэмы «Наука любви».

Строфа XII. *Фоблас* — развращенный молодой дворянин, герой ряда романов французского писателя XVIII в. Луве де Кувре.

Строфа XV. *Брегет* — карманные часы с боем (по имени французского часовщика Брегета).

Строфа XVI. *Вино кометы* — славившееся тогда шампанское урожая 1811 г.; на пробках, которыми оно закупоривалось, было изображение кометы, появившейся в том году; *И Страсбурга пирог нетленный...*— паштет из гусиной печенки, привозившейся в консервированном виде из Страсбурга.

Строфа XVII. *Федра* — героиня одноименной трагедии Жана Расина (1639—1699). *Клеопатра* — во-видимому, героиня какой-нибудь переводной пьесы; *Моина* — героиня трагедии В. А. Озерова (1769—1816) «Фингал».

Строфа XVIII. *Переимчивый Княжнин* — Я. Б. Княжнин (1742—1791), автор многочисленных трагедий и комедий, в большинстве своем переделок с французского. *Е. С. Семенова* (1786—1849) — знаменитая трагическая актриса, дочь крепостной; Пушкин дал ей восторженную характеристику в статье «Мои замечания о русском театре» (1820); *Там наш Катенин воскресил...*— На петербургской сцене была поставлена в 1822 г. трагедия Пьера Корнеля (1606—1684) «Сид» в переводе П. А. Катенина (1792—1853). *Колкий Шаховской* А. А. (1777—1846) — автор популярных комедий. *Дидло* Шарль (1767—1837) — знаменитый петербургский балетмейстер, француз.

Строфа XXIII. *Щепетильный* — здесь в старинном значении: торгующий галантерейными товарами.

Строфа XXV. *Второй Чадаев...*— П. Я. Чаадаев (1794—1856), друг Пушкина, автор «Философических писем», по воспоминаниям современника, «искусство одеваться возвел почти на степень исторического значения» («Вестник Европы», 1871, № 7, с. 183).

Строфа XXVI. *Академический словарь* — «Словарь Академии российской», выходивший с 1789 г., в котором отсутствовали слова, без нужды заимствованные из иностранных языков.

Строфа XXXIII. *Как я завидовал волнам...*— М. Н. Раевская-Волконская вспоминает: «...не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавлять-

ся тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги... Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет» («Записки кн. М. Н. Волконской», изд. 2-е, 1914, с. 62). *Армида* — волшебница-обольстительница в поэме итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Строфа XXXV. *Охтенка* — жительница Охты, разносчица молока.

Строфа XXXVIII. *Child-Harold* — герой поэмы Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда». *Бостон* — карточная игра.

Строфа XLII. *Сей* Жан Батист (1767—1832) — франц. буржуазный экономист, один из родоначальников вульгарной политической экономии; *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский писатель-социолог, основоположник одного из направлений английской философии — утилитаризма.

Строфа XLVIII. *С Мильонной...*— улица в Петербурге, параллельная набережной Невы (ныне улица Халтурина). *Напев Торкватовых октав.*— Стихи из написанной восьмистишными строфами — октавами — поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» пели венецианские гондольеры.

Строфа XLIX. *Брента* — река, впадающая в Адриатическое море; близ ее устья расположена Венеция. *По гордой лире Альбиона...*— Имеется в виду описание Венеции в IV песне «Странствований Чайльд-Гарольда» Байрона.

Строфа LII. *...по почте поскакал...*— на почтовых, т. е. в экипаже на наемных лошадях.

Строфа LVII. *...деву гор...*— черкешенку в «Кавказском пленнике». *И пленниц берегов Салгира* — Марию и Зарему в «Бахчисарайском фонтане».

Глава вторая (стр. 52). Написана в 1823 г., вышла в свет в октябре 1826 г.

Первый эпиграф — из «Сатир» (кн. II, ст. VI) Горация. *Второй* — каламбур Пушкина, основанный на сходстве слов *rus* (деревня) и *Русь*.

Строфа II. *Штофные обои* — из шелковой материи.

Строфа V. *Фармазон* — франкмасон, вольнодумец.

Строфа VI. *С душою прямо геттингенской.*— В немецком городе Геттингене находился университет, в котором учились многие передовые русские люди того времени: лицейский учитель Пушкина А. П. Куницын, приятель Пушкина, член «Союза благоденствия» П. П. Каверин, декабрист Н. И. Тургенев.

Строфа XXX. *Грандисон* и *Ловлас* — добродетельный и порочный герои романов английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу» и «История сэра Грандисона».

Строфа XXXIII. *Шлафор* (шлафрок) — широкое домашнее платье-халат.

Строфа XXXV. *Подблюдны песни* — старинные народные песни, которые пели девушки, доставая свои кольца из накрытого платком блюда с водой: чье кольцо вынется, к тому и относится пропетая песня. *Заря* (зо-

ря) — название травы, которой по народному обычаю в троицын день обметали гробы родителей («Пушкин и его современники», вып. XVI, с. 47).

Строфа XXXVII. *Очаковская медаль* — за участие во взятии турецкой крепости Очаков в 1788 г.

Строфа XL. *Потреплет лавры старика.*— Лицейский профессор Галич на уроках латинского языка любил начинать разговор о ком-нибудь из классиков так: «Ну, а теперь потреплем лавры старика».

Глава третья (стр. 68). Написана в 1824 г., вышла в свет в октябре 1827 г.

Эпиграф — из поэмы французского поэта Жака Шарля Луи Мальфилатра (1733—1767) — «Нарцисс на острове Венеры».

Строфа II. *Эклога* (греч.) — жанр буколической поэзии. Здесь: воспевание прелести простой сельской жизни. *Филлида* — традиционное имя героини в античных эклогах.

Строфа V. *Светлана* — героиня одноименной баллады В. А. Жуковского («Молчалива и грустна // Милая Светлана»). *...в Вандиковой Мадоне...*— Вероятно, имеется в виду картина фламандского художника Антониса Ван Дейка (1599—1641) «Мадонна с куропатками».

Строфа IX. *Любовник Юлии Вольмар* — Сен Пре, возлюбленный героини романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». *Вертер* — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера».

Строфа X. *Кларисой, Юлией, Дельфиной* — героини романов Ричардсона «Кларисса Гарлоу», Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», г-жи де Сталь «Дельфина».

Строфа XII. *Корсар* — герой поэмы Байрона «Корсар», морской разбойник.

Строфа XIV. *У ног любовницы прекрасной...*— В рукописи: «У ног Амалии прекрасной». Амалия Ризнич — жена итальянского негоцианта, которую Пушкин встретил в Одессе. В 1825 г. она умерла в Италии от чахотки.

Строфа XXII. *Оставь надежду навсегда.*— Строка из первой части «Божественной комедии» («Ад») Данте, надпись над входом в ад.

Строфа XXVII. *«Благонамеренный»* — журнал, издававшийся в 1818—1826 гг. А. Е. Измайловым (1779—1831), баснописцем и прозаиком, автором романа «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1799—1800).

Строфа XXIX. *Как Богдановича стихи.*— Имеется в виду поэма И. Ф. Богдановича (1743—1803) «Душенька».

Строфа XXX. *Певец Пиров и грусти томной* — Е. А. Баратынский (1800—1844), автор поэмы «Пиры» и многочисленных элегий; 5 лет отбывал военную службу в Финляндии, что было своего рода ссылкой.

Строфа XXXI. *Фрейшиц* («Der Freischütz») — опера немецкого композитора Карла Марии фон Вебера (1786—1826) «Вольный стрелок» (1821).

Глава четвертая (стр. 87). Написана в 1824—1826 гг., вышла в свет в январе 1828 г.

Эпиграф — слова французского государственного деятеля Неккера, приведенные в книге его дочери г-жи де Сталь «Considération sur la Révolution Française» («Взгляд на французскую революцию»).

Строфа XIX. *...клеветы//На чердаке вралем рожденной...*— Враль — Ф. И. Толстой (1782—1846), по прозвищу «Американец», картежник и дуэлянт. «Чердак» — литературно-театральный салон князя Шаховского.

Строфа XXX. *Толстого кистью чудотворной...*— Ф. П. Толстой (1783—1873) — художник, скульптор, медальер.

Строфа XXXII. *...критик строгий...*— Имеется в виду В. К. Кюхельбекер (1797—1846), призывавший в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической» (альманах «Мнемозина», 1824, кн. II) вернуться от «унылых» элегий к одному из основных стихотворных жанров XVIII в.— оде. *Труба, личина и кинжал* — эмблемы трагедии.

Строфа XXXIII. *Припомни, что сказал сатирик!*— И. И. Дмитриев (1760—1837), высмеявший в сатире «Чужой толк» (1795) *хитрого лирика*— поэта-одописца конца XVIII в., писавшего хвалебные оды с целью приобрести благосклонность сильных мира сего.

Строфы XXXVI, XXXVII. *Певцу Гюльнары подражая, // Сей Геллеспонт переплывал...*— Гюльнара — героиня поэмы Байрона «Корсар». Во время путешествия на Восток Байрон переплыл Дарданеллы — пролив между Мраморным и Средиземным морями, который в древности назывался Геллеспонт.

Строфа XLIII. *Прадт* — аббат, французский публицист, автор популярных политических брошюр.

Строфа XLVII. *Пора меж волка и собаки*— французское выражение, обозначающее вечерние сумерки.

Глава пятая (стр. 105). Написана в 1826 г., вышла в свет в 1828 г. вместе с четвертой главой.

Эпиграф — из баллады Жуковского «Светлана» (1808—1812).

Строфа XXIII. «*Мальвина*» — многотомный сентиментальный роман французской писательницы Мари Софи Коттен (1770—1807). *Петриады*— эпические поэмы о Петре I, написанные в духе классицизма XVIII века. *Мармонтеля третий том.*— Очевидно, имеются в виду «Нравоописательные рассказы» французского писателя Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799).

Строфа XXVI. *Буянов* — герой поэмы «Опасный сосед», написанной дядей Пушкина В. Л. Пушкиным (1770—1830).

Строфа XXVII. «Réveillez-vous, belle endormie» — одно из популярных произведений Шарля Дюфрени (1648—1724), французского драматурга и автора нескольких известных в свое время романсов и куплетов.

Строфа XXXII. *Зизи* — Е. Н. Вульф (1809—1883), дочь тригорской соседки Пушкина П. А. Осиповой.

Строфа XXXVI. *Роберт* (роббер) — партия в карточной игре в вист.

Строфа XL. *Альбан* (Альбани) Франческо (1578—1660) — итальянский художник, создавший в рамках академической живописи нарядные, пестрые полотна на мифологические сюжеты.

Строфы XLIII. XLIV. *Котильон* — старинный танец, которым заканчивался бал.

Глава шестая (стр. 122). Написана в 1826 г., вышла в свет в марте 1828 г.

Эпиграф — из канцоны Петрарки «Джакомо Колонна».

Строфа V. *Регул* — древнеримский полководец, прославившийся героическим поведением в плену у карфагенян.

Строфа XXIV. *Веспер* — Венера; дольше всех звезд горит на утреннем небе.

Глава седьмая (стр. 139). Начата осенью 1827 г., закончена в ноябре 1828 г., вышла в свет в марте 1830 г.

Эпиграфы — из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобожденная Москва», поэмы Баратынского «Пиры» и «Горя от ума» Грибоедова.

Строфа IV. *Деревенские Приамы.*— Царь Трои Приам имел многочисленное семейство. *На долгих* — на своих лошадях, которые не сменялись во все время пути и потому везли очень медленно.

Строфа XIX. *Столбик с куклою чугунной* — статуэтка Наполеона.

Строфа XXII. *Певца Гяура и Жуана.*— Имеется в виду Байрон, автор восточной поэмы «Гяур» и романа в стихах «Дон-Жуан». *Да с ним еще два-три романа.*— К их числу Пушкин относил роман Бенжамена Констана (1767—1830) «Адольф» (1815).

Строфа XXXIII. *...Философических таблиц...*— Имеется в виду книга французского математика и экономиста Шарля Дюпена (1784—1873) «Производительные и торговые силы Франции» (1827), в которой содержатся статистические таблицы, показывающие сравнительную экономику различных европейских стран, в том числе и России.

Строфа XXXV. *Автомедоны* — здесь: ямщики (Автомедон — возница Ахиллеса в «Илиаде» Гомера).

Строфы XXXIX. XL. *У Харитонья в переулке...*— близ церкви св. Харитония, у Чистых прудов; там в раннем детстве жил Пушкин. (В следующей строфе: *У Симеона* — близ церкви св. Симеона.)

Строфа XLIX. *Архивны юноши* — шутливое прозвище московской дворянской молодежи, служившей в архиве министерства иностранных дел.

Строфа L. *Мельпомена, Талия, Терпсихора* — музы трагедии, комедии, танцев.

Строфа LV. *Пою приятеля младого...*— пародия на традиционные эпические поэмы, которые по правилам классицизма должны были начинаться словом «пою» и указанием предмета воспевания.

Глава восьмая (стр. 160). Начата в конце 1829 г., в основном закончена 25 сентября 1830 г., вышла в свет в январе 1832 г.

Эпиграф — начало стихотворения Байрона «Прости» (1816), написанного в связи с разводом с женой.

Строфа I. *Читал охотно Апулея...*— Имеется в виду роман древнеримского писателя Апулея (II в. н. э.) «Золотой осел». *А Цицерона не читал...* — Сочинения знаменитого римского писателя, оратора и государственного деятеля Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.) обычно изучались для упражнения в латинском языке.

Строфа IV. *Ленора* — героиня романтической баллады немецкого поэта Готфрида Бюргера (1747—1794), переведенной на русский язык Жуковским.

Строфа VII. *Олигархические беседы* — беседы избранного круга общества.

Строфа XII. *...демоном моим.*— Пушкин имеет в виду свое стихотворение «Демон» (1823).

Строфа XXV. *Вензель* — золотой, осыпанный бриллиантами знак, выдававшийся в награду фрейлинам.

Строфа XXVI. *Сен-При* (1803—1828) — сын французского эмигранта; был популярен в светском обществе как талантливый карикатурист.

Строфа XXXV. *Стал вновь читать он без разбора.— Гиббон* Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи». *Манзони* (Мандзони) Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель-романтик; *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, литературовед и писатель, во многом подготовивший романтическое направление в Германии; *Шамфор* Себастьян Рок Никола (1741—1794) — французский писатель-острослов; *Биша* Мари Франсуа (1771—1802) — французский врач, автор трудов по анатомии и физиологии; *Тиссо* Симон Анри (1728—1797) — французский врач, автор популярных медицинских сочинений; *Бель* (Бейль) Пьер (1647—1706) — французский философ-атеист, автор «Словаря исторического и критического»; *Фонтенель* Бернар ле Бовье (1657—1757) — французский писатель, автор научно-популярных сочинений.

Строфа XXXVII. *Фараон* — азартная карточная игра.

Строфа L. *Магический кристалл* — стеклянный шар, употреблявшийся при гадании.

Примечания к «Евгению Онегину» (стр. 183). Прим. 5.— *...один из наших романтических писателей.*— Пушкин так называет здесь самого себя. Прим. 8.— *Филомела* — соловей. Прим. 12.— *«Днепровская русалка»* — опера Краснопольского в трех частях (переделка немецкой оперы Кауера на слова Генслера); арию *«Приди в чертог ко мне златой»* русалка Леста поет князю Видостану. Прим. 15 — цитата из повести Шатобриана «Рене». Прим. 16.— Пушкин упоминает вместе с Шекспиром

английского писателя Стерна. Один из персонажей «Сентиментального путешествия» спутал Пастора Иорика с шутом, к черепу которого обращен монолог Гамлета. П р и м. 23.— *...удивлялся этому...* Б. Федоров в рецензии на четвертую и пятую главы «Онегина», опубликованной в 1828 г. в журнале «Санкт-Петербургский зритель». Ту же рецензию Пушкин имеет в виду в примечаниях 32, 33 и 36. П р и м. 24.— *...один из критиков* — М. Дмитриев — автор статьи о четвертой и пятой главах, опубликованной в 1828 г. в журнале «Атеней». П р и м. 31.— *...осуждал...* в той же статье Дмитриев; в своем возражении Пушкин ссылается на сборник, составленный в XVIII в. Киршей Даниловым.

О т р ы в к и и з п у т е ш е с т в и я О н е г и н а (стр. 188). Начато 2 октября 1829 г., закончено 18 сентября 1830 г.

Макарьев — название ярмарки, которая до 1817 г. устраивалась в гор. Макарьеве; позднее была перенесена в Нижний Новгород. *Заводчик* — здесь: владелец конного завода.

Стр. 190. *С Атридом спорил там Пилад.*— Имеется в виду миф об Оресте и Пиладе (Пилад, чтобы спасти приговоренного к смерти Ореста, похитившего статую Артемиды, выдает себя за него; Орест отвергает жертву друга). *Там закололся Митридат.*— Царь древнего Босфорского царства Митридат (132—63 гг. до н. э.) покончил с собой, потерпев поражение в войне с римлянами. *Там пел Мицкевич вдохновенный.*— Имеются в виду «Крымские сонеты» (1826) польского поэта Адама Мицкевича (1798—1855).

Стр. 191. *Фламандской школы пестрый сор* — изображение обыденной, «низкой» действительности (голландские и фламандские живописцы XVI — XVII вв. Тенирс, или Теньер, Ван Остаде, Поттер и др.); *Морали* (мавр Али) — одесский знакомый Пушкина, родом из Египта; ходили слухи, что ранее он занимался морским разбоем.

Стр. 192. *Наш друг Туманский описал...*— Имеется в виду стихотворение «Одесса» поэта В. И. Туманского (1800—1860), служившего в Одессе вместе с Пушкиным.

Стр. 195. *...фора закричит...*— Фора — требование повторения арии. *Авзония* — древнее название Италии (авзоны — одно из древних итальянских племен).

Д е с я т а я г л а в а (стр. 196).

С т р о ф а I. *Властитель слабый и лукавый* — Александр I.

С т р о ф а II. *Его мы очень смирным знали...*— Имеются в виду поражения, нанесенные Александру Наполеоном при Аустерлице в 1805 г., и заключенный Александром в 1807 г., после поражения при Фридланде, невыгодный для России Тильзитский мир.

С т р о ф а IV. *Мы очутилися в Париже...*— В марте 1814 г. союзные русско-прусско-австрийские войска заняли Париж, Наполеон отрекся от престола.

Строфа VI. *Шиболет* — здесь: национальное своеобразие. *Стихоплет великородный* — поэт кн. И. М. Долгорукий (1764—1823), автор стихотворения «Авось».

Строфа VII. *Авось по манью Николая...*— Пушкин иронизирует по поводу своих надежд, что Николай I вернет из Сибири декабристов.

Строфа VIII. *Сей муж судьбы* — Наполеон. *Сей всадник, папою венчанный...*— Объявив себя французским императором, Наполеон принудил римского папу короновать себя по обычаю средневековых императоров Римской империи. *Измучен казнию покоя* — ссылкой на остров св. Елены.

Строфа IX. *Тряслися грозно Пиренеи...*— Речь идет о национально-освободительных движениях начала 20-х гг. XIX в.: испанской революции, революции в Неаполе, греческом восстании. *Безрукий князь* — глава греческого восстания 1821 г., подготовлявшегося в Кишиневе, князь Александр Ипсиланти (1792—1828) потерял руку в сражении под Дрезденом. *Морея* — южная часть Греции.

Строфа X. *Наш царь в конгрессе говорил...*— Имеются в виду выступления Александра I в конгрессах реакционного Священного союза, созывавшихся для подавления революционных движений в Европе.

Строфа XI. *Потешный полк Петра Титана* — Семеновский полк, сформированный Петром I. В ночь убийства Павла I семеновцы несли караул у дворца и пропустили в него заговорщиков (последние две строки полностью соответствуют трактовке убийства Павла, данной молодым Пушкиным в оде «Вольность»). В следующих утраченных стихах речь шла, можно предположить, о восстании Семеновского полка в сентябре 1820 г., жестоко подавленном правительством.

Строфы XII — XV. Посвящены описанию первых тайных обществ — «Союза спасения» и «Союза благоденствия».

Строфа XIV. *У беспокойного Никиты* — декабрист Н. М. Муравьев (1796—1843), один из наиболее активных деятелей Северного общества. *У осторожного Ильи* — член «Союза благоденствия» И. А. Долгоруков (1797—1848). В дальнейшем устранился от участия в тайных обществах и не понес никакого наказания.

Строфа XV. *Лунин* М. С. (1787—1845) — декабрист, один из первых настаивавший на необходимости убить Александра I. Умер в каторжной тюрьме в Сибири. *Якушкин* И. Д. (1793—1857) — декабрист, предлагал взять на себя убийство царя. *Хромой Тургенев* — декабрист Н. И. Тургенев (1789—1871), пылкий патриот, бывший особенно горячим поборником уничтожения крепостного права.

Строфа XVI. *...над Каменкой тенистой...*— В Каменке, имении В. Л. Давыдова (1792—1855), находился один из центров («управ») Южного общества декабристов. *И над холмами Тульчина.*— В местечке Тульчине, неподалеку от реки Буг, был расположен штаб 2-й армии, главнокомандующим которой был генерал П. Х. Витгенштейн, и находился центр Южного общества во главе с П. И. Пестелем (1793—1826). *Холоднокровный генерал* — декаб-

рист А. П. Юшневский (1786—1844). *Муравьев* — декабрист С. И. Муравьев-Апостол (1796—1826), поднявший в конце 1825 г. на юге восстание в Черниговском полку. Был повешен в числе пяти главных участников восстания декабристов.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Б о р и с Г о д у н о в (стр. 203). Трагедия написана Пушкиным во время ссылки, в Михайловском. Начата в декабре 1824 г. и окончена 7 ноября 1825 г. По возвращении из ссылки осенью 1826 г. в Москву Пушкин несколько раз читал «Бориса Годунова» друзьям-литераторам, за что получил строгий выговор от шефа жандармов Бенкендорфа. Николай I, которому Пушкин вынужден был представить на просмотр трагедию, дал ее на отзыв тайному агенту III Отделения Ф. Булгарину. Последний указал на ряд недопустимых, с его точки зрения, мест в трагедии («Монахи слишком представлены в развратном виде», «Царская власть представлена в ужасном виде») и отметил, что в народных сценах не высказывается любви и преданности царю. Николай I не разрешил печатать трагедию, а сделал автору нелепое предложение: «с нужным очищением» переделать ее «в историческую повесть или роман наподобие Вальтер-Скотта». Резолюция царя была сообщена Пушкину, в годовщину восстания декабристов 14 декабря 1826 г. Пушкин предпочел отказаться от опубликования трагедии. Добиться разрешения на ее напечатание «под собственной ответственностью» ему удалось только пять лет спустя. Впервые «Борис Годунов» вышел в свет в 1831г. с вынужденным исключением некоторых отмеченных в отзывах мест.

Постановка «Бориса Годунова» на сцене смогла состояться лишь в 1870 г.; на сюжет трагедии М. П. Мусоргским была написана опера.

Великий Собор.— Земский собор созван был 17 февраля 1598 г. в связи с прекращением династии, для избрания нового царя.

Стр. 204. *Монахиня-царица* — вдова царя Федора Иоановича, сестра Бориса Годунова.

Стр. 205. ... *как дядю моего... задавили.*— Брат деда В. И. Шуйского за организацию заговора против Годунова был сослан в 1587 г. в Каргополь и там удавлен.

Малюта Скуратов — один из главных и самых жестоких опричников Ивана Грозного. Борис Годунов был женат на его дочери.

Венец и бармы Мономаха — по преданию, присланы великому князю Киевскому Владимиру Мономаху (1053—1125) — византийским императором. «Шапкой Мономаха» венчались на царство все московские цари до Петра I; бармы — шитые жемчугом украшения — они носили на своей одежде.

Стр. 207. *Думный дьяк* — высший чиновник, ведавший делами Боярской Думы. При Иване Грозном, Федоре Иоановиче, а позднее и самом Борисе Годунове это был близкий ему человек В. Я. Щелкалов.

Стр. 219. *Как буря, смерть уносит жениха...*— Жених Ксении Годуновой, брат датского короля Христиана IV, неожиданно умер вскоре по приезде в Московское государство.

Стр. 220. *Гудок* — род старинной скрипки в три струны.

Стр. 221. *Юрьев день* — 26 ноября. Безземельные крестьяне издавна имели право переходить с места на место от одного помещика к другому за неделю до Юрьева дня и в течение недели после него. Отмена Юрьева дня положила начало полному закрепощению крестьян. (Отсюда поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».)

Стр. 223. *...пустилися... в мытарства* — в обманы, плутовство.

Стр. 237. *Вишневецкий* Адам — выходец из старинного литовского княжеского рода; первым признал Самозванца сыном Грозного.

Святый Игнатий — Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов.

Стр. 238. *Самбор* — город на Днестре, где находилось родовое имение Мнишков.

Родственник казанскому герою.— Так Самозванец называет участника Казанского похода Ивана IV князя А. М. Курбского, бежавшего в Польшу.

Стр. 239. *Город Ольгин* — Псков.

Баторий Стефан — польский король с 1576 по 1586 г.

Стр. 251. *Свейский государь* — шведский король.

Стр. 259. *Царь Ирод* — царь Иудеи, по евангельскому преданию, приказавший убить всех младенцев мужского пола, опасаясь, что между ними может быть будущий претендент на царство.

Стр. 265. *Разрядны книги* — книги, в которые заносились царские указы о назначении на военную и гражданскую службу (по знатности рода). Записи эти служили главным основанием для местничества; были сожжены при его уничтожении (1682).

Сцена из Фауста (стр. 275).— Написана в 1825 г., при первой публикации в 1828 г. в журнале «Московский вестник» озаглавлена «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем». Навеяна сюжетом, образами и мотивами трагедии Гете «Фауст», которую Пушкин исключительно высоко ценил. К этому времени была известна только первая часть трагедии Гете, кончающаяся безуспешной попыткой Фауста спасти Гретхен от угрожающей ей смертной казни. Видимо, Пушкин рассматривал свою сцену как продолжение. Вместе с тем не только потому, что сцена Пушкина действительно новая, но и по совершенно самостоятельной и в высшей степени своеобразной трактовке образа Фауста она является вполне оригинальным созданием, по своей драматургической форме находящимся на пути к пушкинским «маленьким трагедиям».

Скупой рыцарь (стр. 279).— Задуман в 1826 г., написан и закончен в Болдине 23 октября 1830 г. Очевидно, во избежание возможных биографических сближений (всем известна была скупость отца поэта, С. Л. Пушкина, и тяжелые отношения его с сыном) Пушкин выдал эту вполне

оригинальную пьесу за перевод с несуществующего английского подлинника. Опубликован только в 1836 г. в «Современнике», том I за подписью Р. (французская транскрипция). «Скупой рыцарь» должен был впервые идти в Александринском театре в Петербурге 1-го февраля 1837 г. (через три дня после смерти Пушкина), но по требованию властей, опасавшихся сочувствия публики к убитому поэту, был заменен водевилем.

Стр. 287. *Дублон старинный* — испанская золотая монета.

Моцарт и Сальери (стр. 295).— Пьеса задумана и, возможно, предварительно набросана в Михайловском в 1826 г., завершена 26 октября 1830 г. в Болдине. Рукопись до нас не дошла, но на сохранившейся обложке ее имеется первоначальное заглавие «Зависть». Впервые напечатана в альманахе «Северные цветы» в 1832 г. «Моцарт и Сальери» — единственная пьеса, увидевшая сцену при жизни Пушкина (дважды шла в 1832 г. в петербургском Большом театре). По пушкинскому тексту Н. А. Римским-Корсаковым была написана опера «Моцарт и Сальери».

В 1825 г. в печати широко распространилось известие, что итальянский композитор Антонио Сальери (1750—1825) на смертном одре признался в отравлении Моцарта (умер при загадочных обстоятельствах в 1791 г.). Друзья Сальери считали его признание результатом психического расстройства. До сих пор продолжаются споры о причине смерти Моцарта.

Стр. 296. *Ифигении начальны звуки.*— Опера «Ифигения в Тавриде» немецкого композитора Кристофа Глюка (1714—1787) принадлежала к новому типу оперы-трагедии, где музыка и текст заняли равноправное положение,— в отличие от пользовавшихся шумным успехом опер итальянского композитора Пиччани (1728—1800). Сальери, сперва следовавший итальянской традиции, затем стал безусловным приверженцем Глюка.

Стр. 297. *...voi che sapete* — ария Керубино из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» на слова Бомарше (1732—1799).

Стр. 300. *Гайден* (Гайдн) Иосиф (1732—1809) — немецкий композитор, сыгравший видную роль в развитии европейской инструментальной музыки и подготовивший почву для Моцарта.

Requiem — заупокойную обедню Моцарт писал в год смерти по заказу неизвестного (им оказался впоследствии уполномоченный знатного лица — графа Вальзена, который скупал творения знаменитых музыкантов того времени, выдавая их за свои собственные).

Стр. 302. «*Тарар*» — опера Сальери на слова Бомарше.

Бомарше кого-то отравил?— Недоброжелатели Бомарше в связи со смертью первой и второй его жен, умерших вскоре после замужества, распустили слухи, что он их отравил.

Стр. 303. *Бонароттн* — итальянский скульптор, живописец, архитектор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475—1564). Сальери имеет в виду распространенную легенду, что он убил своего натурщика, чтобы «натуральнее» передать предсмертные конвульсии Христа.

Каменный гость (стр. 304).— Как и две предыдущие трагедии, задуман в Михайловском в 1826 г.; окончательно завершен в Болдине в 1830 г., опубликован в 1839 г. В основу положен заимствованный из средневековой легенды сюжет о знаменитом испанском обольстителе Дон-Жуане, многократно, начиная с драмы испанского драматурга XVII в. Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость», разрабатывавшийся в литературе. Мольеровская сатирическая комедия «Дон-Жуан, или Каменный гость» бичует развратника-аристократа; романтическая и тоже сатирически окрашенная поэма Байрона «Дон-Жуан» не связана с легендарным сюжетом. Из либретто оперы Моцарта «Дон-Жуан» Пушкин взял эпиграф к своей пьесе и имена доны Анны и Лепорелло. В его трагедии — совершенно новая, глубоко психологическая разработка образа главного героя. Образ юной артистки Лауры служит своего рода параллелью к нему.

Гитана — цыганка.

Стр. 314. *И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»* — Ночные сторожа в Испании назывались сереносами (от sereno — ясный) и обязаны были систематически выкрикивать время и состояние погоды.

Стр. 316. *Вента* — постоялый двор, корчма.

Стр. 317. *Эскуриал* — монастырь и королевский дворец в 52 километрах от Мадрида, на южном склоне Гвадаррамы.

Пир во время чумы (стр. 333).— Является переводом фрагмента из пьесы английского поэта-романтика Джона Вильсона (1785—1854), посвященный лондонской чуме 1665 г. Тема эта, несомненно, привлекла особое внимание Пушкина в связи с холерной эпидемией 1830 г. (в письмах поэт и прямо именовал ее чумой), застигшей его в Болдине, где в ноябре пьеса и была написана. Опубликована в 1832 г. в альманахе «Альциона».

Русалка (стр. 341).— Задумана в Михайловском в 1826 г. В ноябре 1829 г., после возвращения из действующей армии, затем в 1832 г. Пушкин снова работал над этой пьесой. Она осталась незаконченной (из шести сцен, намеченных в дошедшем до нас плане, осталась недописанной пятая: «Князь, старик и русалочка» — и не написана шестая: «Охотники»). Можно думать, что в последней сцене месть Русалки, о которой она непрестанно помышляла с той поры, как бросилась в воду, осуществляется.

Сцена «Светлица» сперва была написана народным стихом. Свадебную песню, которую поет в сцене «Княжеский терем» хор девушек, и слова Свата Пушкин записал в ряду других народных песен в Михайловском.

Напечатана была пьеса по рукописи, не имеющей названия, после смерти Пушкина в 6-й книге журнала «Современник» под заглавием «Русалка», данным ей редакторами. На сюжет «Русалки» написана одноименная опера А. С. Даргомыжского.

Сцены из рыцарских времен (стр. 362).— Написаны в 1835 г. Впервые опубликованы после смерти Пушкина в 1837 г. (в V т. «Современника») под заглавием, данным редакторами (у Пушкина оно отсутствовало) и с тех пор за ними закрепившимся. Из набросанных Пушкиным планов видно, что то, что он успел написать, составляет не больше половины пьесы. Намечен дальнейший ход действия. Монаха Бертольда за колдовство сожают в тюрьму. Там он продолжает свои опыты и изобретает порох. Ротенфельд обрекает Франца на вечное заключение, заявляя, что он не выйдет до тех пор, «пока стены замка... не подымутся на воздух и не разлетятся». С помощью пороха то, что казалось совершенно немыслимым, становится реальностью. Видимо, Бертольд взрывает башню. Франц становится во главе нового восстания крестьян. Изобретение пороха оказывается решающим и для борьбы с рыцарями, железные доспехи которых, надежно защищавшие их ранее от дубин и кос восставших, не могут защитить их от артиллерии. Одной из пуль во время осады замка убит и Ротенфельд. Это, видимо, позволяет развязать и любовный узел пьесы: Клотильда свободна и может соединиться с влюбленным в нее Францем. Все это знаменует конец старой феодально-рыцарской эры и начало новой исторической эпохи, чему наряду с изобретением пороха, приписывавшимся полулегендарному немецкому монаху Бертольду Шварцу (XIV в.), способствует другое изобретение, которое в некоторых легендах приписывалось Фаусту, книгопечатание — «та же артиллерия» («autre artillerie») — выражение, употребленное Пушкиным в плане и заимствованное из афоризма французского писателя Ривароля. Появлением Фауста на хвосте дьявола Пушкин и предполагал закончить свою пьесу. Он начал писать ее в стихах. Введенная в пьесу первая песня Франца — сокращенная переработка стихотворения Пушкина «Легенда» (1829); вторая — вольное переложение шотландской народной песни.

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

Арап Петра Великого (стр. 377).— Над своим первым большим произведением в прозе Пушкин работал в 1827—1828 гг. в Михайловском, пожалованном императрицей Елизаветой Петровной его прадеду по матери «арапу» Абраму Петровичу Ганнибалу, который и является героем романа. Абрам Петрович Ганнибал (в романе Ибрагим), родом из Абиссинии, находился с малых лет в услужении у Петра I, был им крещен и отправлен во Францию для получения специального военно-инженерного образования. Происхождение «арапа» и обстоятельства, при которых он попал к Петру, в точности неизвестны. В рукописной биографии Ганнибала, написанной на немецком языке и хранившейся в семейном архиве, эта полоса его жизни носит характер явной легенды. В одном из примечаний к отдельному изданию первой главы «Евгения Онегина» Пушкин дал краткую биографическую справку о Ганнибале. В 30-е годы он начал составлять «Родословную

Пушкиных и Ганнибалов». Эти же данные положил Пушкин в основу фабулы своего исторического романа, использовав также «Деяния Петра Великого» И. Голикова и исторические очерки декабриста А. О. Корниловича «Нравы русских при Петре I», напечатанные в альманахе «Русская старина на 1825 год». В жизни и образе самого Ганнибала многое в романе является плодом творческого вымысла (сюда, например, целиком относится история отношений с графиней Д.).

Не законченный Пушкиным роман был опубликован только в небольших отрывках. Все шесть глав романа, полностью написанные Пушкиным, без седьмой, только начатой, впервые появились в печати уже после его смерти в журнале «Современник», т. VI, 1837, под редакторским заглавием «Арап Петра Великого». Заготовленные Пушкиным эпиграфы не разнесены по главам (за исключением I и IV) и расставлены позднейшими редакторами предположительно.

Эпиграф к первой главе — из «Путешествия NN в Париж и Лондон» И. И. Дмитриева.

Стр. 377. *Герцог Орлеанский* Филипп (1674—1723) после смерти Людовика XIV, за малолетством Людовика XV, был регентом Франции.

Пале-Рояль — дворец герцогов Орлеанских в Париже.

Law — Джон Лоу (1671—1729) — финансовый делец и авантюрист; став во главе французского государственного банка и ряда акционерных предприятий, выпустил непомерное количество бумажных денег и акций, что привело к грандиозному финансовому краху и разорению десятков тысяч вкладчиков.

Стр. 378. *Герцог Ришелье* Луи Франсуа (1696—1788) — внук кардинала Ришелье, типичный представитель упадочной французской знати XVIII в., славившийся остроумием и любовными похождениями.

Алкивиада новейших Афин.— Афинский полководец и государственный деятель Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.) сочетал блестящие дарования с тщеславием, легкомыслием и распутством; новейшие Афины — Париж.

Аруэт (Аруэ) — настоящая фамилия Вольтера (1694—1778). Пушкин цитирует пятистишие из его поэмы «Орлеанская девственница».

Шолье Гильом (1636—1720) — аббат, французский поэт, воспевавший чувственные наслаждения.

Стр. 384. *Ораниенбаум* — загородный дворец под Петербургом.

Долгорукий Я. Ф. (1639—1720) — сподвижник Петра I, участник Азовских походов 1695—1698 гг.; сенатор.

... молодого Рагузинского...— Рагузинский (ум. в 1738 г.), выходец из Иллирии, купец; выполнял ряд торговых и дипломатических поручений Петра.

Стр. 385. *Шереметев* Б. П. (1652—1719) — фельдмаршал.

Головин И. М. (1672—1737) — адмирал, на его дочери был женат прадед Пушкина по отцовской линии.

... с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем... — Имеются в виду: Феофан Прокопович (1681—1736) — новгородский архиепископ, писатель и проповедник; Гавриил Бужинский (1680—1731) — ученый монах, перевел по поручению Петра ряд книг с латинского и других языков; И. Ф. Копиевич (ум. после 1708 г.) — ученый пастор, сделавший по поручению Петра ряд переводов и составивший несколько учебников.

Стр. 386. *Корсаков* — реальное лицо, В. Я. Римский-Корсаков, направленный Петром во Францию для обучения военно-морскому делу в 1716 г. и вернувшийся на родину в июне 1724 г.

Стр. 391. *Барская барыня* — крепостная экономка.

Стр. 392. *Кутафья* — неуклюжая, безобразно одетая женщина.

Кислые щи — сорт кваса.

Стр. 393. *Из немотчины* — из-за границы.

Стр. 394. *Поход 1701* года — поход шведов после взятия ими Нарвы в Курляндию и Литву, во время которого русские войска нанесли им ряд поражений и взяли много пленных.

Стр. 395. *Блинник* — намек на кн. Александра Даниловича Меншикова (1673—1729), который мальчиком торговал пирогами.

Роман в письмах (стр. 403).— Пушкин работал над этим незаконченным произведением в конце 1829 г. Впервые опубликовано в собрании сочинений Пушкина под ред. П. В. Анненкова, 1857, под редакторским заглавием «Отрывки из романа в письмах».

Стр. 407. Письмо 5. *Критики Вестника Европы.*— Пушкин имеет в виду статьи Н. И. Надеждина (1804—1856), печатавшиеся в журнале «Вестник Европы», в частности, статью, направленную против поэмы «Граф Нулин», в которой он укорял Пушкина «в безнравственности и неблагопристойности».

Стр. 409. Письмо 7. *Явиться Форнариной.*— Форнарина — натурщица и возлюбленная Рафаэля.

Стр. 410. Письмо 8. *Монастырками* называли воспитанниц петербургского Смольного института; *Лабрюйер* Жан (1645—1696) — французский писатель-моралист; «*А потому что патриотки*» — цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

Стр. 412. Письмо 10. *Принадлежит к 1818 году* — год образования первой тайной декабристской организации «Союз благоденствия».

Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Создание прозаических произведений, объединенных лицом вымышленного автора, было задумано Пушкиным еще до 1830 г. Вплотную к воплощению своего замысла Пушкин приступил болдинской осенью 1830 г. Меньше чем через неделю по приезде в Болдино, 9 сентября им закончен «Гробовщик», 14 сентября — «Станционный смотритель» (в тот же день была набросана

новая черновая редакция предисловия к «Повестям», в основном соответствующая окончательному тексту), 20 сентября — «Барышня-крестьянка», после почти месячного перерыва написаны две последние повести: «Выстрел» — 14 октября и «Метель» — 20 октября. По возвращении из Болдина Пушкин познакомил с повестями Баратынского. «Баратынский ржет и бьется»,— шутя писал он Плетневу, тут же оговаривая, что сообщение «весьма секретное», «для тебя единого», и что в печати они должны появиться «анонимно».

Пушкин расположил повести не по времени написания, а исходя из несомненного композиционного расчета, чередуя повести с «неблагополучными» и «благополучными» концами. Такая композиция сообщала всему циклу, несмотря на наличие в нем и глубоко драматических положений, общую оптимистическую направленность.

В ы с т р е л (стр. 417). Подполковник И. Л. П., «рассказавший» «Белкину» эту повесть,— видимо, близкий кишиневский знакомый Пушкина, подполковник Егерского полка Иван Петрович Липранди, некоторые черты облика и биографии которого отражены в образе Сильвио. Эпизод с фуражкой графа, наполненной черешнями, носит автобиографический характер: так вел себя Пушкин во время дуэли с офицером Зубовым, состоявшейся в июне 1822 г. в Кишиневе.

Эпиграфы — из поэмы Баратынского «Бал» и повести А. Бестужева-Марлинского (1797—1837) «Вечер на бивуаке».

Стр. 418. *Шандал* — подсвечник.

Стр. 421. *Бурцов* А. П. (ум. в 1813 г.) — гусар, сослуживец поэта-партизана Дениса Давыдова (1784—1839), обратившегося к нему со стихотворным посланием: «Бурцов, ера, забияка, собутыльник дорогой».

Стр. 426. *Этеристы* — члены греческих тайных обществ, гетерий, создававшихся в конце XVIII — начале XIX в. и ставивших своей задачей борьбу за освобождение Греции из-под турецкого ига.

М е т е л ь (стр. 427). *Эпиграф* — из баллады Жуковского «Светлана».

Стр. 432. *Артемиза* — карийская царица Артемизия (IV в. до н. э.), прославившаяся верностью своему умершему мужу Мавзолу, которому она воздвигла надгробный памятник — «мавзолей», считавшийся в древности одним из «семи чудес света».

Vive Henri-Quatre — куплеты из комедии Колле «Выезд на охоту Генриха IV» (1774), очень популярные во Франции после падения Наполеона и реставрации Бурбонов.

Арии из Жоконда.— Комическая опера французского композитора Николо Изуара (1775—1818) «Жоконд, или Искатель приключений» шла с большим успехом в 1814 г. в занятом русскими войсками Париже.

Стр. 433. *И в воздух чепчики бросали* — строка из «Горя от ума» Грибоедова.

Se amor non è... — из 88-го сонета итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374).

Стр. 434. *Первое письмо St.-Preux* — в романе в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Гробовщик (стр. 436). *Эпиграф* — из оды Державина «Водопад», навеянной смертью Г. А. Потемкина. Образ гробовщика зарисован Пушкиным с натуры. В Москве, на Большой Никитской (теперь улица Герцена), напротив дома Гончаровых, где жила в ту пору невеста Пушкина, была лавка гробовщика Адриана.

Амур с опрокинутым факелом в руке — символ смерти.

Стр. 437. *Шекспир и Вальтер Скотт... представили своих гробокопателей* — первый в «Гамлете», второй — в романе «Ламермурская невеста».

Франмасонские удары — особые условные стуки, по которым члены тайных масонских обществ узнавали друг друга.

Стр. 438. *Почталион Погорельского* (псевдоним писателя А. А. Перовского (1787—1836) — персонаж повести «Лафертовская маковница».

Дорический орден — особый стиль древнегреческой архитектуры, отличавшийся простотой и строгостью линий.

С секирой и в броне сермяжной — строка из стихотворения «Дура Пахомовна» поэта и баснописца А. Е. Измайлова.

Стр. 439. *Казалось в красненьком сафьянном переплете...* — слегка измененная цитата из комедии Я. Б. Княжнина «Хвастун» (1786).

Стр. 440. *У Вознесения* — церковь в Москве у Никитских ворот; в ней позднее венчался Пушкин.

Станционный смотритель (стр. 441). *Эпиграф* — из стихотворения П. А. Вяземского «Почтовая станция».

Стр. 442. *Чиновник 6-го класса* — коллежский советник; соответствовал военному чину полковника.

Прогоны — проездные деньги, плативщиеся из расчета за каждую лошадь и версту и выдававшиеся по числу лошадей, в зависимости от чина; «нижним чинам и служителям» полагались две лошади.

Стр. 447. *...в Измайловском полку* — в районе, где находились казармы Измайловского полка.

Демутов трактир — петербургская гостиница на набережной реки Мойки; там неоднократно останавливался и сам Пушкин.

Скуфья — мужская круглая маленькая шапочка.

Стр. 449. *Усердный Терентьич* — действующее лицо в пародийной балладе И. И. Дмитриева «Отставной вахмистр (Карикатура)».

Барышня-крестьянка (стр. 450). *Эпиграф* — из поэмы Богдановича «Душенька».

Вышел в отставку в начале 1797 года — т. е. в начале царствования Павла I, самодурство и неистовый нрав которого побудили многих дво-

рян, в особенности ненавистных ему гвардейских офицеров екатерининского времени, спешно выйти в отставку.

В отъезжем поле — т. е. на дальней охоте.

«*Сенатские ведомости*» — еженедельное издание (с 1808 г.) новых правительственных распоряжений.

Стр. 451. *Английский сад* — с сохранением «природного» вида, искусственными горами, руинами и т. п.

Но на чужой манер хлеб русский не родится — строка из «Сатиры» А. А. Шаховского (1808).

Опекунский совет — учреждение, выдававшее ссуды под залог имений и крепостных крестьян.

Стр. 452. *Жан-Поль* — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Рихтера (1763—1825).

«*Памела*» — «Памела, или Вознагражденная добродетель» — роман Ричардсона.

Стр. 455. *Сбогар* — благородный разбойник, герой романа французского писателя Шарля Нодье (1780—1844) «Жан Сбогар».

Стр. 460. *Madame de Pompadour* — фаворитка Людовика XV.

Стр. 462. *По ланкастерской системе.*— Имеется в виду система взаимного обучения, очень популярная в то время; возникла в Англии в начале XIX в.

«*Наталья, боярская дочь*» — сентиментальная историческая повесть Н. М. Карамзина (1766—1826).

История села Горюхина (стр. 465).— Написана осенью 1830 г. в Болдине (в рукописи даты 31 октября и 1 ноября) по непосредственным впечатлениям от быта и обстановки вконец разоренного родового имения Пушкиных; осталась неоконченной. Впервые опубликована после смерти Пушкина в журнале «Современник» (1837, т. VII) с искаженным заглавием «Летопись села Горохина». По форме «История» представляет собой пародию на работы некоторых современных Пушкину историков, в особенности на «Историю русского народа» Н. А. Полевого; задевается и «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. В рукописях сохранился план «Истории села Горюхина», из которого видно, что в дальнейшем ходе изложения особенно видное место отводилось «бунту» крестьян (в 1774 г. во время пугачевского восстания «бунтовали» крестьяне Болдина и окрестных деревень).

Новейший письмовник — род старинной энциклопедии, дававшей элементарные сведения по различным областям знания (от грамматики до астрономии) и являвшейся также книгой для чтения, содержавшей различные поучительные истории, рассказы, анекдоты, собрание стихов, народных песен, пословиц и поговорок,— составлен в 1769 г. Н. Г. Курановым.

Нибур (1776—1831) — немецкий историк, критически пересмотревший многие легенды древнеримской мифологии.

Стр. 468. «*Ненависть к людям и раскаяние*» — сентиментально-нравоучительная драма немецкого писателя Августа Коцебу (1761—1819).

Б., сочинитель— Фаддей Булгарин; в 1830 г. он особенно преследовал Пушкина всякого рода клеветой и доносами. В рассказе о встрече с «сочинителем Б.» содержится ряд намеков, понятных читателю того времени и разоблачавших Булгарина как тайного агента III Отделения.

Стр. 470. *...после Татищева, Болтина и Голикова.*— Имеются в виду русские историки до Карамзина: В. Н. Татищев (1686—1750) — автор «Истории Российской»; И. Н. Болтин (1735—1792) — автор «Примечаний на историю древния и нынешния России г. Леклерка»; И. И. Голиков (1735—1801)— автор «Деяний Петра Великого». Как и «бессмертный труд аббата Милота», все эти сочинения ко времени создания «Истории села Горюхина» совершенно устарели.

Стр. 471. *Титлы* — особые значки в церковнославянской письменности, ставившиеся над строчкой и обозначавшие пропуск букв в написании слова.

Стр. 472. *Вольные хлебопашцы* — по закону 1803 г. о «свободных хлебопашцах» помещик имел право раскрепощать своих крестьян — «отпускать на волю на определенных условиях».

Стр. 474. *...в древнем общественном здании...* — здесь: в казенном трактире.

Рославлев (стр. 478).— Незаконченное произведение второй половины 1831 г. Своеобразная полемика с вышедшим тогда историческим романом М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», написанным в реакционно-реалистическом духе т. н. «официальной народности». Пушкин воспользовался утверждением Загоскина, что в его романе «интрига основана на истинном происшествии», и, ведя свой рассказ от лица подруги Полины (героиня Загоскина), придал «истинному происшествию» совсем другое освещение.

Частично опубликовано в «Современнике», 1836, т. III, под заглавием «Отрывок из неизданных записок дамы (1811)», без подписи и с маскирующей пометкой «С французского»; полностью — в т. XI посмертного издания сочинений Пушкина (1841).

Стр. 479. *Кребильон* Клод Проспер Жолио (1707—1777) — французский писатель, рисовавший распущенность нравов аристократического общества Франции XVIII в.

Стр. 482. *Рейнская конфедерация* — объединение Наполеоном I ряда германских государств, полностью зависящих от Франции (1806—1813).

Листки графа Растопчина — развешивавшиеся на улицах объявления московского главнокомандующего гр. Растопчина о военных действиях против французов в ура-патриотическом духе, на псевдонародном языке.

Стр. 483. *Княгиня Дашкова* Е. Р. (1743—1810) — приближенная Екатерины II, деятельно помогавшая ей в совершении дворцового переворота 1762 г.; в дальнейшем первый президент Российской академии (1783—1796), автор запрещенных к печати мемуаров, выписки из которых имеются в бумагах Пушкина.

...счастье можно найти...— из повести Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848) «Рене»; примечание издателя принадлежит самому Пушкину.

...молодого графа Мамонова.— Гр. М. А. Дмитриев-Мамонов (1790—1863) сформировал в 1812 г. на свои средства казачий полк; позднее был членом одного из первых тайных организаций декабристов.

Стр. 484. *Proverbes* — небольшие комедийки для домашних представлений.

Д у б р о в с к и й (стр. 487).— Роман не закончен; Пушкин работал над ним с октября 1832 г. по начало февраля 1833 г. Замысел подсказан действительным происшествием, о котором сообщил Пушкину в конце сентября 1832 г. его друг П. В. Нащокин; белорусский небогатый дворянин по фамилии Островский, судившийся с соседом за землю, был вытеснен из имения и, оставшись с одними дворовыми, стал грабить сперва подьячих, а затем и других. Нащокин видел Островского в тюрьме, и, возможно, тот сам рассказал ему свою историю. Пушкинский герой в первоначальном плане фигурирует под фамилией Островского. Окончательный выбор фамилий, очевидно, был подсказан псковскими преданиями о бунте крестьян помещика Дубровского, оказавших вооруженное сопротивление воинской команде и заявивших, что по наказу Дубровского они будут бить помещиков.

По первоначальному замыслу, вероятно измененному в этом пункте по цензурным соображениям, роль крепостных крестьян в расправе над приказными намечалась еще более активной и решительной.

Роман впервые опубликован в посмертном собрании сочинений Пушкина, т. X, 1841, под заглавием «Дубровский», в рукописи отсутствовавшем.

Г л а в а I. Стр. 491. *Фризовая шинель* — из грубого сукна.

Г л а в а II. Определение суда, полностью приводимое Пушкиным, представляет собой дословную копию (лишь с заменой собственных имен) подлинного судебного документа — решения суда по аналогичному делу о сельце Новопанском.

Г л а в а III. Крестьянские образы и описания деревни в этой и следующих главах связаны с личными впечатлениями Пушкина. Прообразом няни Дубровского Орины Егоровны, несомненно, была няня поэта. Письма Орины Егоровны к Дубровскому почти полностью повторяют письма Арины Родионовны к Пушкину.

Г л а в а IV.— *Эпиграф* взят из оды Державина «На смерть князя Мещерского».

Стр. 501. «*Гром победы раздавайся*» — начало одного из хоров Державина, написанных им для грандиозного праздника, устроенного Потемкиным в подаренном ему Екатериной Таврическом дворце в Петербурге 28 апреля 1791 г.; хор был положен на музыку Козловским.

Г л а в а VI. Стр. 506. *...во время турецкого похода...*— Имеется в виду вторая турецкая война 1787—1791 гг.

Глава VIII. Стр. 510. *...не читавший ничего, кроме «Совершенной повара-ихи».*— Очевидно, речь идет о популярном в то время романе М. Д. Чулкова (ок. 1743—1792) «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины».

Глава IX. Стр. 514. *Лафатерские догадки* — пользовавшаяся в свое время большой популярностью теория швейцарского писателя Иоганна Лафатера (1741—1801), согласно которой по чертам лица и строению черепа можно точно определить характер человека.

Стр. 516. *...портрет Кульнева.*— Я. П. Кульнев (1763—1812), генерал, одержавший ряд блестящих побед во время русско-шведской войны (1808—1809) и убитый во время войны 1812 г.

Стр. 517. *Радклиф* Анна (1764—1823) — английская писательница, творившая в жанре т. н. «романа ужасов».

Глава XIII. Стр. 529. *Ринальдо* — герой популярного в свое время романа немецкого писателя Христиана Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо-Ринальдини, атаман разбойников».

Стр. 530. *Амфитрион* — легендарный древнегреческий царь, имя которого стало нарицательным для обозначения любезного, гостеприимного хозяина.

Глава XIV. Стр. 531. *...подобно любовнице Конрада...*— В поэме Мицкевича «Конрад Валленрод» возлюбленная героя Альдона в рассеянности вышила лепестки розы зеленым шелком, а листья красным.

Пиковая дама (стр. 544).— Написана в октябре — начале ноября 1833 г. в Болдине. Напечатана в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II, кн. 3.

7 апреля 1834 г. Пушкин записал в своем дневнике: «Моя Пиковая Дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н. П. Голицыной и, кажется, не сердятся».

В повести употребляются следующие карточные термины, требующие пояснения. *Играть мирандолем* — не увеличивая ставки; *рутe* — положение, когда понтеру «везет» и он выигрывает подряд несколько карт; *поставить на рутe* — присоединить свою ставку к ставке такого игрока; *загнуть пароли* — увеличить ставку вдвое; *пароли-пе* — вчетверо; *выиграть соника* — с первой же карты «сорвать» банк, т. е. выиграть все деньги, в нем стоящие; *играть семпелем* — на одну карту; *порошковые карты* — употреблялись шулерами.

I. *Эпиграф* принадлежит самому Пушкину.

... Германн — не имя, а фамилия героя.

Стр. 545. *Граф Сен-Жермен* (ум. в 1784 г.) — известный алхимик, авантюрист конца XVIII в.

Казанова Джованни Джакома (1725—1798) — авантюрист, автор мемуаров, в которых дана яркая картина разложения нравов французской аристократии XVIII в.

Стр. 546. *Зорич* С. Г. (1745—1799) — один из многочисленных фаворитов Екатерины II, азартный игрок.

II. *Эпиграф* — ответ Дениса Давыдова одной из его светских знакомых.

Стр. 549. *Вошла в капоте* — в пальто особого покроя.

Горек чужой хлеб...— из «Божественной комедии» Данте (ч. III «Рай»).

III. Стр. 555. *Лебрен* — Елизавета Лебрен Виже (1755—1842) — модная французская портретистка того времени.

Монголфьеров шар — воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

Месмер Ф. (1734—1815) — врач-гипнотизер; выдвинул гипотезу о т. н. «животном магнетизме».

IV. Стр. 558. *Три дамы с вопросами* — во время кадрили дамы обозначали себя какими-нибудь условными словами, кавалер должен был танцевать с той, которая назвалась выбранным им словом.

V. Стр. 560. *Шведенборг* — Сведенборг Эммануил (1688—1772), шведский философ-мистик.

Стр. 561. *Жених полунощный* — аллегорическое обозначение Христа в евангельской притче о «девах разумных и неразумных».

VI. Стр. 562. *Атáнде* (испорченное французское attendez — подождите) — предложение банкомету понтером, карта которого выиграла, прекратить дальнейшее «метание» колоды.

Стр. 563. *Талья* — круг игры до окончания карт или до срыва банка у банкомета.

К и р д ж а л и (стр. 566).— Написано предположительно осенью 1834 г. Впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1834, т. VII, кн. 12.

Настоящее имя Кирджали, как выясняется из архивных данных,— Георгий. Болгарин по происхождению, он стоял во главе «кирджалей» — молдавских удальцов, боровшихся с турками. Пушкин запамятовал дату ареста Кирджали и выдачи его туркам; это случилось не в сентябре 1821 г., а в феврале 1823 г.; тогда же Кирджали и бежал. Пушкин не знал о трагическом конце Кирджали, который был снова захвачен в плен и 24 сентября 1824 г. повешен в Яссах.

Молдавия и Валахия — так называемые «придунайские княжества», находившиеся под турецким игом.

Арнауты — турецкое название албанцев.

Иордаки Олимбиоти (Иоргаки Олимпиот) — один из видных деятелей греческого восстания 1821 г.; после разгрома гетеристов с остатками своего отряда погиб в монастыре Секу, в горах Молдавии, взорвав пороховой склад.

Кантакузин — князь Г. М. Кантакузин (ум. в 1857 г.), один из предводителей греческого восстания, кишиневский знакомый Пушкина.

Стр. 567. *Некрасовцы* — отряд донских казаков под предводительством атамана Некрасы, принимавший участие в восстании Булавина.

Стр. 568. *Клефты* — греческие и албанские партизаны, скрывавшиеся в горах и нападавшие на турок; приняли деятельное участие в греческом восстании 1821 г.

Бешлык — турецкая серебряная монета.

Стр. 569. *Долиман* — турецкая длиннополая одежда с пуговицами на груди и узкими рукавами, подпоясанная широким кушаком.

Килия — город в Молдавии.

Стр. 570. *Гальбины* — золотые турецкие монеты; *лев* — мелкая монета.

Египетские ночи (стр. 571).— Неоконченная повесть, которую Пушкин сперва хотел назвать «Клеопатра», писалась им, по-видимому, осенью 1835 г. в Михайловском. Тема Клеопатры и ее любовников издавна занимала Пушкина. Стихи о Клеопатре он начал писать еще в 1824 г., снова вернулся к ним в 1828 г., когда и был в основном написан стихотворный текст, вводимый редакторами в качестве второй импровизации итальянца. Судя по первоначальному заглавию, дальнейшим содержанием повести должен был стать роман в духе «условия Клеопатры» между Чарским и скорее всего той «молодой величавой красавицей», которая вынула из урны тему, им предложенную. Однако образ Чарского был слишком явно окрашен в автобиографические тона (это сразу же бросилось в глаза современникам),— что, возможно, и побудило поэта отказаться от дальнейшей работы над «Египетскими ночами».

Повесть впервые опубликована после смерти Пушкина в «Современнике», 1837, кн. VIII.

Эпиграфы: к первой главе — из французского «Альманаха каламбуров» маркиза Бьевра («Бьеврианы»), ко второй — из оды Державина «Бог».

Глава I. Стр. 572. *Резановское мороженое.*— В Петербурге того времени пользовалась популярностью кондитерская Резанова.

Глава II. Стр. 577. *Каталани Анжелика* — итальянская певица, гастролировавшая в 20-х гг. XIX в. в России.

Глава III. Стр. 578. «*Танкред*» — опера Россини на сюжет трагедии Вольтера.

Стр. 579. *Семейство Ченчи* — знатная и богатая римская семья, жившая в XVI в.; глава ее, Франческо Ченчи, убил при помощи наемных убийц двух сыновей и обесчестил красавицу дочь Беатриче; был зарезан подосланным дочерью и мачехой наемным убийцей. Беатриче и мачеха были преданы папскому суду и после жесточайших пыток казнены.

Последний день Помпеи — картина К. Брюллова (1799—1852), которая в 30-е гг. была привезена им из Италии в Петербург и пользовалась шумным успехом.

Весна, видимая из темницы.— Тема подсказана эпизодом в книге Сильвио Пеллико «Мои тюрьмы» (1833).

Триумф Тассо — один из наиболее трагических эпизодов биографии итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595), жившего при дворе гер-

цога Феррарского; в результате тяжелых столкновений между поэтом и придворной средой из-за его «дерзкой» любви к сестре герцога Элеоноре Тассо вынужден был покинуть Феррару; по возвращении был засажен в сумасшедший дом, откуда вышел спустя семь лет совершенно разбитым физически и нравственно; умер в Риме за несколько дней до готовившегося ему триумфа — торжественного увенчания лавровым венком в Капитолии. Этому посвящена элегия Батюшкова «Умирающий Тасс».

Капитанская дочка (стр. 583). Первый план «Капитанской дочки» Пушкин набросал 31 января 1833 г., еще не закончив работы над «Дубровским». В конце февраля он получил доступ к архивным материалам. Оттуда взята — как и многое другое — фамилия Гринев.

Окончательная переработка романа относится к 1836 г., заключительные строки датированы 19 октября.

Учитывая цензурные условия, Пушкин опустил большую главу, в которой рассказывается о бунте крестьян и присоединении их к Пугачеву в деревне отца героя. Снят мотив добровольного приезда Гринева к Пугачеву с жалобой на Швабрина.

«Капитанская дочка» была опубликована в 1836 г. в «Современнике», т. IV. Пропущенная глава увидела свет только в 1880 г.

Глава I. *Эпиграф* взят из комедии Княжнина «Хвастун».

Граф Миних.— После дворцового переворота 1741 г., давшего власть Елизавете Петровне, был сослан в Сибирь, откуда через двадцать лет был возвращен Петром III. Во время дворцового переворота 1762 г., в результате которого власть была захвачена Екатериной II, оставался первое время, как и дед Пушкина, на стороне Петра. Выход в отставку старика Гринева хронологически должен бы быть связан с падением Миниха в 1741 г., однако по существу, поскольку в образе старика Гринева отражены некоторые черты деда Пушкина, он скорее связывается с 1762 годом, что подсказывается и дальнейшим контекстом.

Премьер-майор — офицерский чин XVIII века, соответствующий чину подполковника.

...записан в Семеновский полк сержантом...— Со времени Петра дворяне записывали сыновей на военную службу с самого раннего детства, чтобы к моменту фактической службы им уже следовал чин офицера.

Стр. 585. *Обоих российских орденов кавалер* — награжденный двумя высшими орденами: Андрея Первозванного и Александра Невского, установленными при Петре I и Екатерине I.

Стр. 588. *И денег, и белья, и дел моих рачитель* — строка из «Послания к слугам моим» Д. И. Фонвизина (1744—1792).

Глава II. *Эпиграф* — из «Собрания русских песен» М. Чулкова 1770—1774 гг.

Стр. 593. *Бунт 1772 года* — восстание казацкой бедноты, во время которого был перебит правительственный отряд во главе с генералом Траубен-

бергом; восстание было жестоко усмирено и все войсковые привилегии отменены.

Стр. 595. *Киргиз-Кайсацкие степи* — так называли область, находящуюся к востоку от реки Урал (теперь территория Казахской ССР).

Глава III. *Второй эпиграф* — из комедии Фонвизина «Недоросль».

Стр. 597. *Кистрин* (Кюстрин) — одна из сильнейших прусских крепостей на реке Одер, которую русская армия осаждала в 1758 г., во время Семилетней войны.

Очаков — турецкая крепость, взятая в 1737 г. Минихом.

Погребение кота — «Погребение кота мышами», одна из наиболее популярных лубочных сатирических картинок (направлена против Петра I).

Глава IV. *Эпиграф* — из комедии Княжнина «Чудаки».

Глава V. *Эпиграфы* — к 5-й, 6-й и 7-й главам из сборника Чулкова.

Глава VI. Стр. 617. *Наказанные в 1741 году.*— В 1735—1740 гг. в Башкирии вспыхнули крупные народные восстания, вызванные эксплуатацией башкирского трудового народа царским правительством; восстания были подавлены с неслыханной жестокостью; так, в 1740 г. было сожжено 696 деревень; у главных участников восстания (301 человек) были отрезаны носы и уши.

Стр. 618. *...дождемся сикурса* — войсковой части, посланной для подкрепления.

Глава VII. *Эпиграф* — запевка одной из песен времен Петра I о казни стрелецкого атамана.

Глава VIII. Стр. 627. *Чумаков Федор* — яицкий казак, начальник артиллерии в войске Пугачева.

Глава IX. *Эпиграф* — из стихотворения Хераскова «Разлука».

Глава X. *Эпиграф* — из поэмы Хераскова «Россияда».

Стр. 635. *Коллежский советник* — гражданский чин, соответствовавший чину полковника.

Стр. 637. *Лизавета Харлова* — дочь коменданта Татищевской крепости и жена коменданта Нижнеозерской крепости (обе крепости были взяты Пугачевым); отец, мать и муж Харловой были казнены, а она стала наложницей Пугачева; по настоянию его приближенных, опасавшихся ее влияния, была также казнена.

Глава XI. *Эпиграф*, по-видимому, придуман — под Сумарокова — самим Пушкиным.

Стр. 641. *Белобородов* И. Н.— один из ближайших сподвижников Пугачева, отставной солдат-артиллерист, вышел из среды уральских крепостных рабочих.

Афанасий Соколов (Хлопуша) — крепостной крестьянин, один из талантливейших командиров в войске Пугачева.

Стр. 645. *Юзеева* — деревня в ста двадцати верстах от Оренбурга, под

которой войска Пугачева 9 ноября 1773 г. нанесли поражение правительственным войскам.

Стр. 646. *Фридерик* — прусский король Фридрих II (1712—1786), сын Фридриха I, почему Пугачев и называет его Федором Федоровичем; Пугачев — участник Семилетней войны, в которой русские войска разгромили наголову Фридриха II.

Глава XIII. Стр. 656. *Михельсон* И. И.— один из главных и самых жестоких усмирителей пугачевского восстания.

Глава XIV. Стр. 660. *Волынский* А. П. (1689—1740) — министр в правительстве Анны Иоанновны; возглавлял группу русского дворянства, которая выступала против засилья немцев при дворе; публично казнен в 1740 г.

Стр. 661. *София* — почтовая станция и небольшой городок близ Царского Села.

Стр. 663. *Роброн* (робронд) — парадное женское платье с широким шлейфом.

Путешествие в Арзрум (стр. 665). Написано на основе «Путевых записок», которые Пушкин вел во время поездки в 1829 г. в действующую русскую армию, ведущую с 1828 г. войну с Турцией. Старинный армянский город — крепость Арзерум находился на захваченной русскими войсками территории в северо-восточной Турции.

«Путешествие» напечатано с цензурными сокращениями в 1836 г. в первом томе «Современника».

Стр. 666. *...сделал... двести верст лишних...* — чтобы посетить бывшего «главноуправляющего Грузией», популярного в кругах декабристов и тогда находящегося в опале генерала А. П. Ермолова (1777—1861). При публикации «Путешествия» в «Современнике» рассказ об этом посещении Пушкин вынужден был опустить; впервые он был опубликован в лондонской «Полярной звезде» Герцена и Огарева за 1861 г.

Стр. 667. *Портрет, писанный Довом* — портрет Ермолова, сделанный английским живописцем Дж. Дау (1781—1829) для Военной галереи героев 1812 г. в петербургском Зимнем дворце; *...слова графа Толстого* — Ф. И. Толстого-Американца.

О правительстве и политике... ни слова — это написано явно по тактическим соображениям и находится в противоречии с тем, что Пушкин тут же пишет о темах бесед с Ермоловым. Недавно опубликована завизированная Ермоловым запись замечания Пушкина об «Истории» Карамзина: «Меня удивляет его добродушие и простосердечие; говоря о зверствах Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей».

... нашел я графа Пушкина...— В. А. Мусина-Пушкина (1798—1854), члена Северного общества декабристов, заключенного в крепость и затем переведенного из гвардии в армейский Петровский полк.

Стр. 668. *Кобылиц неукротимых...*— цитата из думы Рылеева «Петр Великий в Острогожске» (1823), которую при публикации в «Современнике» Пушкин вынужден был снять.

Стр. 671. *...like a warrior...*— из стихотворения Ч. Вульфа «Погребение сэра Джона Мура».

Стр. 672. *Шернваль* — офицер генерального штаба при Паскевиче, брат жены В. А. Мусина-Пушкина.

Иматра — водопад в Финляндии.

... реке, на Севере гремящей — из оды Державина «Водопад» (1794).

И в козиих мехах...— из третьей песни «Илиады» Гомера (перев. Е. Кострова).

... моего приятеля Шереметева — П. В. Шереметева (1799—1837), служившего в русском посольстве в Париже.

...один путешественник — Н. Н. Нефедьев, автор книги «Записки во время поездки на Кавказ и в Грузию в 1827 г.» (1829).

Стр. 673. *... снеговую груду... подпирающую небосклон* — из стихотворения Дениса Давыдова (1784—1839) «Полусолдат» (1826).

Ждали персидского принца — наследника персидского шаха, принца Хозрев-Мирзу, ехавшего к Николаю I в Петербург в связи с убийством в Тегеране Грибоедова; в его свите находился и персидский поэт Фазил-хан.

Стр. 678. *... найти Раевского...*— друга Пушкина Н. Н. Раевского (1801—1843), командовавшего сводной артиллерийской бригадой в армии Паскевича.

Санковский Н. С. (1798—1832), писатель, редактор газеты «Тифлисские ведомости», выходившей на русском, грузинском и персидском языках.

Душа, недавно рожденная... — из «Весенней песни» грузинского поэта Д. Туманишвили (ум. в 1821 г.).

Стр. 679. *... несчастный Кларенс...*— младший брат английского короля Эдуарда IV (XV в.); был осужден на смерть с правом самому выбрать род ее; пожелал, чтобы его утопили в бочке мальвазии.

Граф Самойлов Н. А. (ум. в 1842 г.) — адъютант Ермолова, вместе с ним уволенный в отставку.

... за чином асессорским, толико вожделенным — из сатирической «Элегии» («Восплачь, канцелярист...») поэта-сатирика А. Н. Нахимова (1782—1814).

... лечат меркурием — ртутью.

Генерал Сипягин Н. М. (1785—1828) — тифлисский военный губернатор.

Стр. 680. *Генерал Стрекалов* С. С. (1782—1856) — тифлисский военный губернатор, сменивший Сипягина.

Стр. 681. «*Что вы везете?*» — «*Грибоеда*».— Встреча Пушкина с телом убитого Грибоедова произошла 11 июня 1829 г.

Стр. 683. «*Это Арарат*» — казаки ошиблись: это была гора Арагац (Алагез).

Стр. 686. *Генерал Бурцов* И. Г. (1794—1829) — член «Союза благоденствия»; в 1826 г. был арестован, заключен в Бобруйскую крепость и затем переведен на Кавказ; в 1829 г. получил чин генерал-майора.

Вольховский В. Д. (1798—1841) — лицейский товарищ Пушкина, член «Союза благоденствия»; в 1826 г. был переведен на Кавказ.

Михаил Пущин (1800—1869) — брат лицейского товарища Пушкина, за участие в восстании 14 декабря был арестован, разжалован в солдаты и сослан на Кавказ.

Стр. 687. «... *nec Armeniis...*» — из 9-й оды Горация (Руфу Вальгию).

Семичев Н. Н.— декабрист; после заключения в Петропавловской крепости был переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, за храбрость произведен в майоры и назначен эскадронным командиром.

Остен-Сакен — штабс-капитан Нижегородского драгунского полка.

Стр. 688. *Генерал Муравьев* Н. Н. (1794—1866) — начальник Н. Н. Раевского.

Стр. 689. *Полковник Симонич* И. О. (ум. в 1850 г.) — командир Грузинского гренадерского полка.

Стр. 690. *Картина, достойная Сальватора Розы.*— Роза Сальватор (1615—1673) — итальянский художник; для его картин характерны темные тона и сильные световые контрасты.

Стр. 691. *Полковник Анреп.*— Р. Р. Анреп (ум. в 1830 г.) — командир Сводного уланского полка, сформированного из частей полков, участвовавших в восстании декабристов; в окончательном тексте «Путешествия» Пушкин был вынужден не употреблять слово «сводный» или заменять его тремя звездочками.

Стр. 695. *По свидетельству Гаджи-Бабы...*— эпизод из романа английского писателя Мориера «Приключения Гаджи-баба Испаганского», известного русским читателям по вольному переводу Сенковского (1830). Персидский посол, секретарем которого был Гаджи-баба, поймав проездом через Арзрум обокравшего его скорохода, потребовал отрезать ему уши. Его обманули, показав телячьи уши.

Турнфор Ж.-П. (1656—1708) — французский ботаник и путешественник; автор книги «Отчет о путешествии на Восток».

Стр. 696. *Янычар Амин-Оглу* — лицо вымышленное.

Стр. 697. *Сухоруков* В. Д. (1795—1841) — поручик лейб-гвардии Казачьего полка; за причастность к делу декабристов был исключен в 1825 г. из гвардии и отправлен сперва на Дон под «бдительный тайный надзор», а в 1827 г. на Кавказ; собранные им архивные материалы по истории войска Донского были отобраны.

Славный Бей-булат — Таймазов, возглавлял в 1825 г. восстание северокавказских горцев; в 1829 г. перешел на сторону России.

Стр. 699. *Коновницын* П. П. (ум. в 1830), подпоручик гвардейского генерального штаба, декабрист, был разжалован в солдаты и отправлен на

Кавказ; за отличие в русско-персидской войне произведен в 1828 г. в прапорщики.

Стр. 700. *Уединенный монастырь* — старинная грузинская церковь Цминда-Самеба (см. ст. Пушкина «Монастырь на Казбеке»).

Дорохов Р. И. — сын знаменитого партизана 1812 г., генерала И. С. Дорохова; в 1820 г. за «буйство» и дуэль разжалован в солдаты, служил в Нижегородском драгунском полку, в 1829 г. за храбрость произведен в прапорщики.

Первая статья, мне попавшаяся...— статья Н. И. Надеждина о «Полтаве», опубликованная в 8-м и 9-м номерах «Вестника Европы» за 1829 г.

Д. Благой

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Благой. Гений национальной и мировой литературы. «Евгений Онегин». Драматургия. Проза 5
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. *Роман в стихах* 29

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Борис Годунов 203
Сцена из Фауста 275
Скупой рыцарь 279
Моцарт и Сальери 295
Каменный гость 304
Пир во время чумы 333
Русалка 341
Сцены из рыцарских времен 362

РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

Арап Петра Великого 377
Роман в письмах 403
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
От издателя 414
Выстрел. 417
Метель 427
Гробовщик 436
Станционный смотритель 441
Барышня-крестьянка 450
История села Горюхина 465
Рославлев 478
Дубровский 487

Пиковая дама 544
Кирджали 566
Египетские ночи 571
Капитанская дочка 583
Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года 665

Примечания *Д. Благого* 703

На суперобложке: рисунки из рукописей А. Пушкина — портреты Марата, Занда, Лувеля и др.; портреты Мирабо, Данте, Наполеона и др.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 104

Александр Сергеевич Пушкин

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РОМАНЫ. ПОВЕСТИ

*

Редактор И. Чеховская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Н. Замятина
Л. Коншина

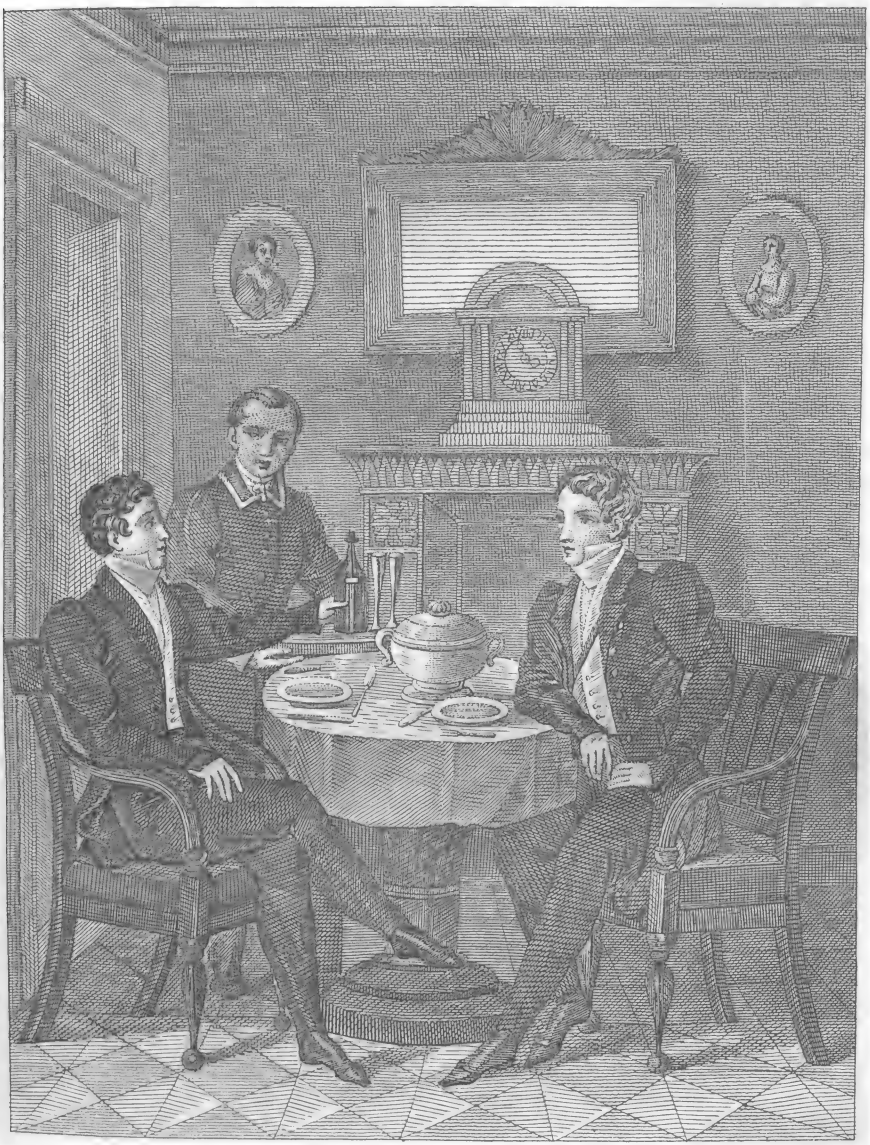
*

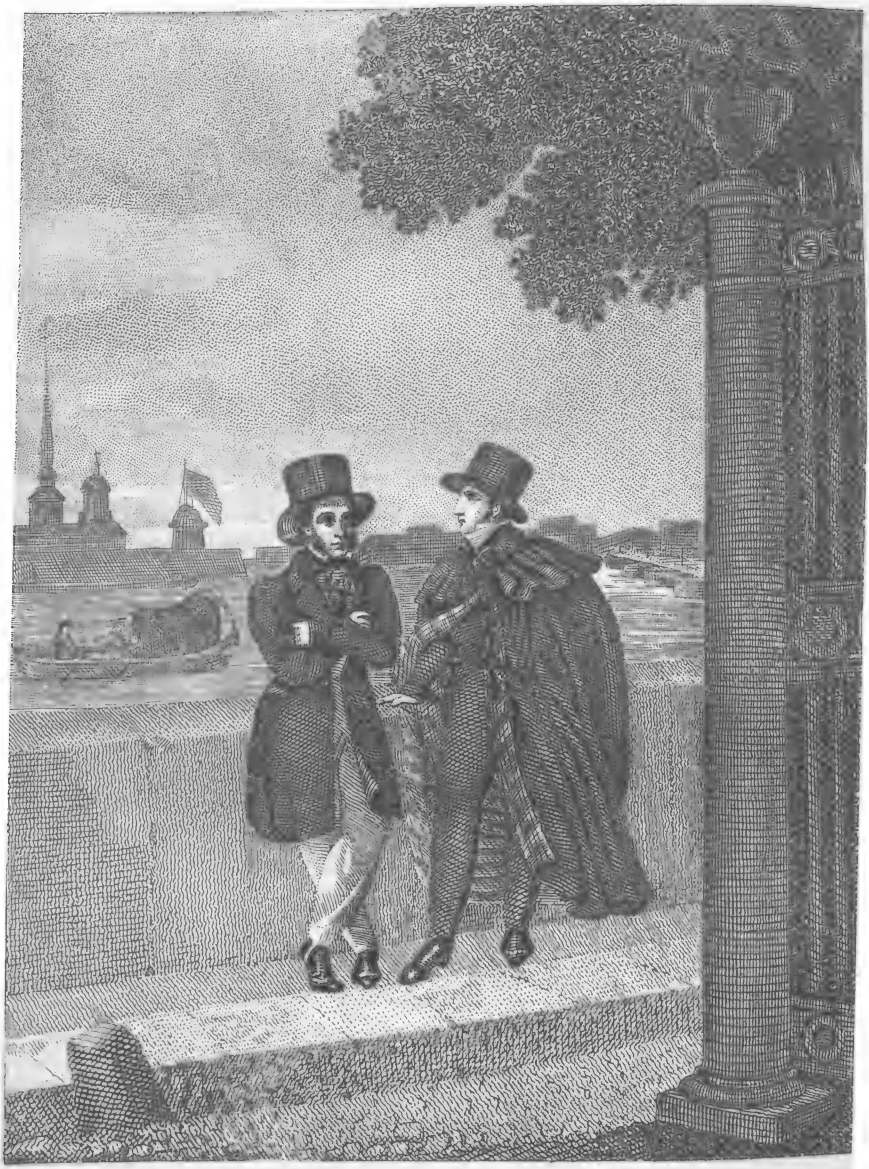
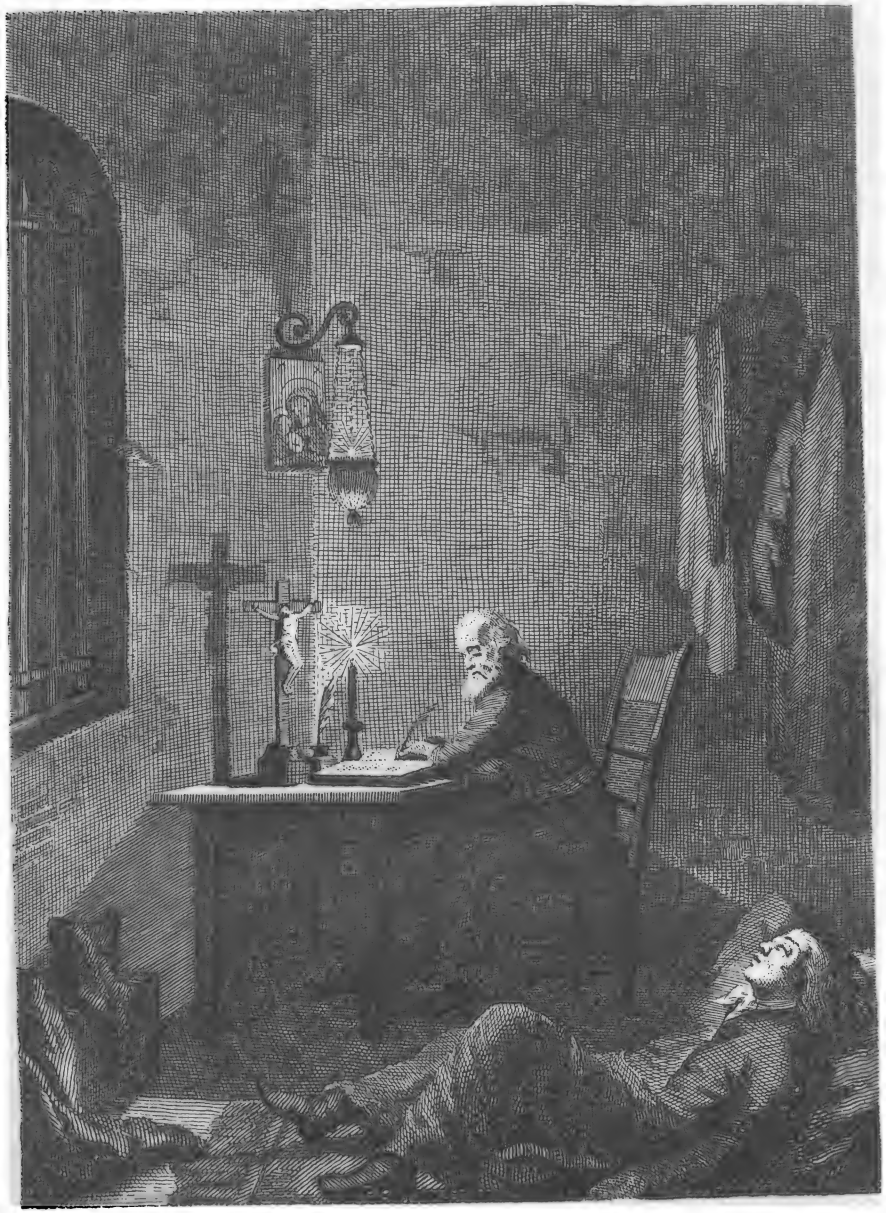
ИБ № 458
Сдано в набор 28/V 1976 г. Подписано к печати 26/X 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 46 печ. л. 42,92 усл. печ. л. 41,99 + 1 вкл. + 7 накид. = 42,67 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 326. Цена 2 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28





ПЕСТЕЛЬ
РЫЛЬЕВЪ
БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ
МУРАНЬЕВЪ
КАХОВСКІЙ